

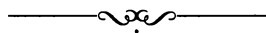
Вероника Тушинова

Не отрекаются
любя

The background of the cover is a painterly illustration. It depicts an interior scene with a window. On the left, a vase of pink flowers sits on a surface. In the foreground, a dark wooden chair is visible. Through the window, a bright outdoor scene with trees and a fence is shown. The overall style is impressionistic with visible brushstrokes.

ЭКСМО

Вероника
ТУШНОВА



*Не отрекаются
любя*



Вероника
ТУШНОВА



*Не отрекаются
любя*

ЭКСМО-ПРЕСС

2 0 0 0

УДК 882-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Т 81

Составитель *Н. Розинская*

Оформление художника *Е. Ененко*

Серия основана в 1997 году

Тушнова В.
Т 81 Не отрекаются любя: Стихи. — М.: ЗАО Изд-во
ЭКСМО-Пресс, 2000. — 336 с. (Серия «Домашняя
библиотека поэзии»).

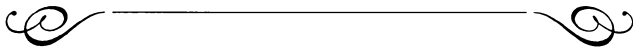
ISBN 5-04-003241-2

Поэтическая звезда Вероники Тушновой поражает такой прозрачной ясностью стиха, таким полноводьем поэтического чувства, что спустя десятилетия отзывается в душах и сердцах ее читателей светлой грустью, надеждой и верой в счастье.

УДК 882-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-04-003241-2

© Составление, оформление. ЗАО
«Издательство «ЭКСМО-Пресс», 1999 г.

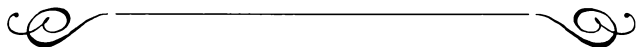


* * *

*Открываю томик одинокий —
томик в переплете полинялом.
Человек писал вот эти строки.
Я не знаю, для кого писал он.*

*Пусть он думал и любил иначе,
и в столетьях мы не повстречались.
Если я от этих строчек плачу,
значит, мне они предназначались.*





ЕЕ ЗВЕЗДА

Среди поздних стихов Вероники Тушновой есть одно о том, как ей долго не удавалось заметить маленькую звездочку — сначала «за блеском неба и воды» на закате, потом за жаркими искрами костра, и только когда закат догорел и огонь погас, стало видно:

...из дальней дали
мне в сердце смотрит
вечная звезда.

«Звезда»

Не думаю, чтобы сама написавшая эти строки сравнивала себя с далеким светилом, награжденным ею эпитетом «вечная», но теперь, размышляя о судьбе поэтессы, стихи эти вспоминаешь не даром.

В. Тушнова пришла в поэзию вместе с поколением фронтовиков (она и сама была врачом в госпитале), но, в отличие от большинства из них, заявила о себе сравнительно поздно (во время дебюта в печати ей было уже двадцать девять лет) и как-то негромко. Словечко «камерно» легко перепархивало на обсуждениях ее стихов из уст в уста.

Совершенно полноправное в сфере музыки, оно в литературных дебатах, особенно тогдашних, приобретало явственный оттенок серьезного укора, что вполне соответствовало догматической прямолинейности оценок, снова поднимавшей голову после оторопи, постигшей ее в годы Великой Отечественной войны.

В том самом итоговом докладе о советской литературе 1944 — 1945 годов, где Николай Тихонов назвал среди

имен молодого поэтического пополнения и В. Тушнову, неодобрительно упоминалось о «странной (!) линии грусти», чей «легкий налет лежит на стихах фронтовиков». «Я не призываю к лихой резвости над могилами друзей, — спешил оговориться докладчик, — но я против облака печали, закрывающего нам путь».

Между тем самое лучшее в ранних стихах Тушновой — как раз то, что было исторгнуто из глубоко потрясенного войной сердца женщины и матери.

Какую «камерность» можно было усмотреть в «Ночной тревоге», этой хватающей за сердце картине будничных в ту пору лихорадочных сборов в бомбоубежище?

И снова поиски ключа,
и дверь с задвижкой тугою,
и снова тельце у плеча,
обмякшее и дорогое.

Как пазло, лестница крута, —
скользят по сбитым плитам ноги;
и вот навстречу, на пороге —
бормочущая темнота.

Или в стихотворении «Птица»?

...И бесприютен голос птичий
среди обугленных пустынь.

Он бьется, жалобный и тонкий,
о синеву речного льда,
как будто мать зовет ребенка,
потерянного навсегда.

Кружит он в скованном просторе,
звения бессмыслимой тоской, —
как будто человеческие горе
осталось плакать над рекой.

Если «Первая книга» (1945) еще была встречена доброжелательной рецензией Н. Калитина, то вскоре пресловутая «камерность» обратила на поэтессу взоры лихих кампанейских проработчиков, бойко ставивших ей в вину «перепевы надуманных переживаний в духе салонной лирики Ахматовой».

И то, что первый сборник отделяет от следующего почти десятилетие, разумеется, не случайно. Новая книга рождалась трудно. Растерянный автор искренне стремился перестроиться.

В 1948 году состоялось, как гласила короткая газетная заметка, обсуждение «отрывков из новой книги, посвященной труженикам пятилетки», где выступавшие отметили серьезность творческой работы, не лишенной, однако, «некоторого пристрастия к «красивости», пышному орнаменту, риторике». Но прошло еще несколько лет, прежде чем «Пути-дороги» увидели свет — в 1954 году.

Книга была озаглавлена так же, как один из ее разделов, где преобладали стихи, навеянные поездками, дорожными встречами, знакомством с новыми краями (такой же характер носил и раздел «Азербайджанская весна»). Стараясь избежать прежних упреков, поэтесса продемонстрировала «географическую широту» своих интересов, слагала, по позднему выражению одного писавшего о ней критика, «стихи-очерки о людях, встреченных в жизни». Их было немало и в разделе «Много друзей» — «Инженер», «Жена прораба», «Аннушка приехала домой» и др.

Ныне название «Пути-дороги» выглядит скорее не как обозначение реальных путешествий автора, а как напоминание о труднейшем этапе творческого пути В. Тушновой, сбившейся было, если не сбитой, со свойственной ей стези «лирика по самой строчечной сути». Даже чрезвычайно одобрительно встреченная критикой поэма «Дорога на Клухор» (1952) нередко носит отпечаток чуждой поэтессе риторической экзальтации. И когда читаешь строки одного из стихотворений тех лет, про почтамт, где «в белых треугольниках томится невостребованная любовь» («Письма»), так и кажется, что оно о самой Тушновой с ее — «невостребованной» литературной ситуацией конца 40-х и начала 50-х годов — лирикой любви, человечности, грусти, с теми «благородством и широтой чувств», которые мимолетно, но зорко отметил еще в 1947 году критик Л. Макаров в ее стихах о матери.

Большинство напечатанного в «Путих-дорогах», пожа-

луй, еще не могло опровергнуть мнения А. Тарасенкова, который, расценивая «Дорогу на Клухор» как удачу, одновременно отзывался об авторе, как дотоле «не приобретшем... своего отчетливого творческого лица, не нашедшем своего голоса». Еще можно было просто улыбнуться над тем, что в одном стихотворении поэтесса, видимо, незаметно для себя, буквально повторила слова знаменитого романа («искры гаснут на лету» — в «Разлуке»), а в другом подпала под власть энергичной, напористой интонации Николая Тихонова («Мы праздник встречали в дороге. Мы песни хорошие пели, мы пили вино из стаканов и рюмок плохого стекла...»). Порой она «пригубливала» действительно, так сказать, «из рюмок плохого стекла», прибегая к поэтическим штампам, бывшим тогда в широком употреблении: «Он в бою сегодня, как вчера... Здесь каждый дело знал свое и место, приказы были коротки и четки. В штаб армии (здесь — управление треста) ежеминутно поступали сводки...»

И лишь на последних двадцати с немногим страницах сборника, в разделе «Стихи о счастье» голос поэтессы становился свободным и естественным:

Я давно не писала стихов о весне.
Не писала стихов о тебе, о себе...

«Счастье»

Согласимся: это камерные стихи. Но — в старом, добром смысле слова: то, что не предназначено для хора или большого оркестра.

Перед читателем, дотоле, быть может, небрежно листавшим книгу, не слишком отличавшуюся от многих других, вдруг возникало истинное лицо пишущей — любящей, томлящейся, страдающей, временами почти портретно-точное и единственное в своей живой конкретности («...ресницы, слепленные вьюгой, волос намокшее крыло, прозрачное свечение кожи, лица изменчивый овал»), но одновременно полное отблесков тех же чувств, которыми живет и множество других женщин со своими жестокими «вьюгами»,

счастливыми и горькими минутами, с тревожным ощущением неумолимого бега времени и с упрямой, пусть и не раз обманывавшей, верой в счастье:

...Я перестану ждать тебя,
а ты придешь совсем внезапно.
А ты придешь, когда темно,
когда в стекло ударит выюга...

«Не отрекаются любя...»

Эта глубоко интимная и в то же время способная отзываться в тысячах душ грустью, надеждой, болью нота еще больше окрепла в книге «Память сердца» (1958), где главная тема поэтессы вышла уже на первый план, решительно потеснив все остальное:

...любовь на свете есть!
Единственная — в счастье и в печали,
в болезни и здравии — одна,
такая же в конце, как и в начале,
которой даже старость не страшна.
Не на песке построенное зданье,
не выдумка досужая, она
пожизненное первое свиданье,
безветрия и гроз чередованье!
Сто тысяч раз встающая волна!

«Твой враг»

И хотя в этом сборнике вроде бы нет прямых откликов на большие общественные перемены, происшедшие тогда в стране, но в самой «раскованности» автора, в ее открытости навстречу читателю, уверенности в близости ему своих переживаний ощутимо веяние времени, подсказавшего незадолго перед тем одному из старших поэтов характерные строки:

Что такое случилось со мною?
Говорю я с тобою одною,
А слова мои почему-то
Повторяются за стеною,
И звучат они в ту же минуту
В ближних рощах и дальних пущах,
В близлежащих людских жилищах

И на всяческих пепелищах,
И повсюду среди живущих.
...Удивительно мощное эхо.
Очевидно, такая эпоха!

Леонид Мартынов

В ту пору «второе дыхание», как назвала Тушнова свой сборник 1961 года, пришло ко многим и во множестве отличий. И подзаголовок «Новая книга» не просто свидетельствовал о том, что здесь нет стихов из прежних сборников, как это раньше бывало у поэтессы, а говорил о явственном ощущении автором наступившей и утвердившейся в ее творчестве перемены.

Непосредственно адресованные уезжавшей сербской поэтессе Десанке Максимович слова: «...я твое родное сердце от себя не отпущу», — теперь, в перспективе всего дальнейшего творчества Тушновой, кажутся обращенными к читателю, которого она наконец-то почувствовала своим, близким и поняла, что его можно «взять» только безоглядной искренностью и правдой, а не стихами, где, как на одном мимолетно упомянутом в книге сборище, «звучали слова и молчали мысли».

Когда-то старшая «коллега» Тушновой Аделина Адалис считала ее слабостью именно «отсутствие поэтической мысли». Пожалуй, эта ученица Брюсова с его подчеркнутым рационализмом была несправедлива к молодой дебютантке, чья поэтическая мысль развивалась по-своему — не броско, не отливаясь в чеканные формулы, а стремясь претвориться во всем образном строе стихов.

И все же в позднем творчестве Тушновой мысль приобретает большую осязаемость и рельефность: за ней — весомость пережитого, испытанного, передуманного.

Некогда, оглядываясь на детские годы, поэтесса восклидала: «Я ли это — в белом платьице, с белым голубем в руках?» И вряд ли она, тогдашняя, предугадывала себя такую, какую предстала во «Втором дыхании»:

...брожу по лесу,
греюсь под лучами
и думаю...

И крепко сплю ночами,
и не спешу приблизить милый срок
ночных бессонниц
и счастливых строк.

Стихи эти начинаются словами «Жизнь обмелела...», но, пожалуй, такого половодья поэтического чувства, такой прозрачной ясности и грустной умудренности, какие выразились в строках о «милом сроке», Тушнова еще не достигала.

Недаром именно в эту пору она работает над «Поэмой памяти», посвященной матери и ее «продолжению» — своей собственной дочери, поэмой, полной напряженных раздумий о несхожих судьбах разных поколений и о нависшей над миром новой небывалой военной угрозе:

Чудовищные тихие предметы...
По-разному их люди называют.
Конечно, как-то проще слово «бомба»,
реалистичней и привычней слуху,
но подлинное им название —
смерть.

...Современно практична ее оболочка.
Нет, себя не узнала бы в этой, стальной,
та, из книжек старинных, кустарь-одиночка,
в маскарадном наряде, с косой за спиной.

Поэма не окончена, но стоит сравнить ее не всегда отшлифованные строки с «Дорогой на Клухор», чтобы понять, насколько она масштабней по мысли, по трезвости оценок, по щемящей тревоге за дочь и всю новую молодежь:

Веселья, подарков и радостей много,
а счастьем могла бы я с ней поделиться...

...Горжусь военной юностью своею,
я так жила, как надлежало мне.
Им — детям — проще будет и труднее.
Жизнь даст им все.
И требует вдвойне.

«Раскрепощение» любовной темы, произошедшее в середине 50-х годов, порою оборачивалось в творчестве неко-

торых авторов бесконечным «тиражированием» однообразных ситуаций и переживаний, лишенных подлинного эмоционального накала.

Тушновой «повезло»: чувство, подсказавшее ей стихи последних лет жизни — от «Второго дыхания» до «Ста часов счастья» (1965), — было по всем статьям трудным и драматичным. «...Благословляю бурю, с которой никак не справлюсь», — сказано в одном стихотворении поэтессы. И в этой буре наконец-то раскрылось все лучшее в ее существе. Недаром уже через несколько лет после смерти Тушновой перечитывавшие ее последние стихи вспоминали слова знаменитого хирурга о человеческом сердце, оказавшемся на его ладони: «Это, знаете ли, — вот когда оно в руке трепещет, — это я ни с чем в жизни не могу сравнить...» Да и еще раньше в надгробном слове Александра Яшина говорилось о «благородном сердце, обнаженном до предела».

Здесь много чего сошлось. Уже во «Втором дыхании» сказано:

Стоит между нами
не море большое —
горькое горе,
сердце чужое.

«Хмурю землю...»

Но дело не в зауядном — хотя в своей реальной конкретности всякий раз болезненным и даже драматическом — «любовном треугольнике», чьи очертания по большей части еле-еле, целомудренно проступают в стихах Тушновой.

В них куда сильнее звучит далеко не узко личный мотив обделенности счастьем, роднящий многих и многих, особенно принадлежавших к тому выбитому войной поколению:

Ни скрипа, ни шороха в доме пустом,
он весь потемнел и памок,
ступени завалены палым листом,
висит заржавелый замок...
А гуси летят в темноте ледяной,
тревожно и хрипло трубя...

Какое несчастье
случилось со мной —
я жизнь прожила
без тебя.

*«Как часто лежу я без сна
в темноте...»*

Тут и беспредельная сопричастность трудной судьбе, бореньям и тяготам возлюбленного, в котором легко угадывается прямой до отчаянности характер правдолюбца, испытавшего многие удары судьбы. И горестная невозможность полностью разделить эту ношу, облегчить ее — и по стечению житейских обстоятельств, и по непростому характеру своего избранника.

Во «Втором дыхании» есть полное преклонения перед бессмертием любви на Земле стихотворение «Двое на мосту» — о словно бы «несменяемой» во все времена паре:

Они стоят
такие юные,
такие вечные
стоят.

В «Ста часах счастья» такого слитного силуэта нет и в помине. Постоянная борьба «центробежных» и «центростремительных» сил то кидает героев друг к другу, то разводит безнадежно далеко, одновременно до предела обостряя взаимное тяготение, тоску по всему, что связано с любимым:

Осчастливь меня однажды,
позови с собою в рай,
исцели меня от жажды,
подышать немного дай!
Он ведь не за облаками,
не за тридевять земель, —
там снежок висит клоками,
спит апрельская метель.
Там синест ельник мелкий,
на стволах ржавеет мох,
перепархивает белка,
будто розовый дымок.

*«Осчастливь меня
однажды...»*

Любовь к одному, единственному, сливается здесь с любовью к земле, на которой он живет и заботами которой болеет, любовью к «сгорбленному, сивому» ельнику, спящему «в сугробах по грудь», к «талньникам вдоль размытого лога», к колодезным журавлям, которые «скрипят таинственно и нежно», и к самому обыденному быту:

Я просыпаюсь рано,
слушаю звуки дома:
дрова перед печкой брошены,
брякнул дверной замок,
одна за другой
картошины
падают в чугунок.

«Звуки дома»

Действительно, и природа в стихах этого тонкого лирика, «не раскрашенная, не украшенная — зримая и милая», как писала поэтесса Вера Звягинцева, и все наше «ежедневье» увидены благодарными за свои «сто часов» глазами, готовыми обласкасть даже неказистый самолетик, тарахтящий «над туманной двухверсткой лесов и речек» («железный смешной кузнечик, серо-зеленый, десятиместный»).

И вряд ли случайно, как это было замечено в одной из статей, в последних стихах Тушновой «речь близится к народной. И говор, и причет, и заклятие, и песня...». Характерно, что она и сама писала: «Возвращаюсь, возвращаюсь под родимый кров!»

Стихи эти, созданные, по выражению только что процитированного поэта-рецензента Ирины Снеговой, «в крайнем страдании и острейшем счастье», были полны ощущением новых, открывающихся возможностей:

А может быть, я только что родилась,
как бабочка, что куколкой была?
Еще не высохли, не распрямились
два беспощадно скомканных крыла?
...Вдруг полечу еще
и засверкаю,
и на меня порадуешься ты?

*«Наверно, это попросту
усталость...»*

Жизнь поэтессы, едва перешагнувшей порог пятидесятилетия, оборвалась в самый год появления «Ста часов счастья», но, как показали первые же взволнованные отклики в печати, полет, который она предугадывала, состоялся.

О том, как явственно обозначилась на поэтическом небе звезда Вероники Тушновой, хорошо сказала в посвященном ей стихотворении Юлия Друнина:

...Да, ты ушла.
Со смерти взятки гладки.
Звучат иных поэтов голоса.
Иные голосистей. Правда это.
Но только утверждаю я одно:
И самому горластому поэту
Твой голос заглушить не суждено —
Твой голос — тихий, как сердцебиенье.
В нем чувствуется школа поколенья
Науку скромности прошедших на войне —
Тех, что свою «карьеру» начинали
В сырой землянке — не в концертном зале
И не в огне реклам — в другом огне...

А. Турков



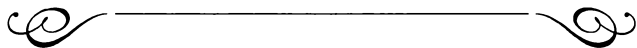


Память сердца,
память сердца,
ТЫ ПОЭЗИЯ сама...





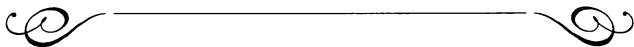
Дом Тушновых в Адмиралтсйской слободе в Казани



...Она была очень красивая женщина. Невысокая, с карими до черноты глазами, волосами цвета воронова крыла. Никогда не изменяло ей чувство товарищества. В ней была какая-то «домашность», всегдашний разговор «на равных»... В ней как-то удивительно сочетались внешняя и душевная красота, поэзия строк и поэзия человеческого поведения...

Марк Соболев





КАПИТАНЫ

Не ведется в доме разговоров
про давно минувшие дела,
желтый снимок — пароход «Суворов» —
выцветает в ящике стола.

Попытаюсь все-таки взглядеться
пристальней в туман минувших лет,
увидать далекий город детства,
где родились мой отец и дед.

Утро шло и мглою к горлу липло,
салом шелестело по бортам...

Кашлял продолжительно и хрипло
досиня багровый капитан.

Докурив, в карманы руки прятал
и в белесом мареве зари
всматривался в узенький фарватер
Волги, обмелевшей у Твери.

И возникал перед глазами
причал на стынущей воде
и домик в городе Казани,
в Адмиралтейской слободе.
Судьбу бродяжью проклиная,
он ждет — скорей бы ледостав...
Но сам не свой в начале мая,
когда вода растет в кустах
и подступает к трем оконцам

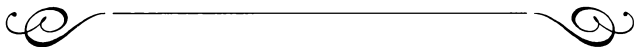
в густых гераневых огнях,
и, ослепленный мир обняв,
весь день роскошествует солнцу;
когда прозрачен лед небес,
а лед земной тяжел и порист,
и в синем пламени по пояс
бредет красно-лиловый лес...
Горчащий дух набрякших почек,
колючий, клейкий, спиртовой,
и запах просмоленных бочек
и дегтя... и десятки прочих
тяжеловесною волной
текут с причалов, с неба, с Волги,
туманя кровь, сбивая с ног,
и в мир вторгается свисток —
привычный, хрипловатый, долгий...
Волны медлительный разбег
на камни расстилает пену,
и осточертевают стены,
и дом бросает человек...
С трехлетним черноглазым сыном
стоит на берегу жена...
Даль будто бы растворена,
расплавлена в сиянье синем.
Гремят булыжником ободья
тяжелых кованых телег...
А пароход — как первый снег,
как лебедь в блеске половодья...
Пар вырывается, свистя,
лениво шлепаются плиты...
...Почти полсотни лет спустя
такое утро сыну снится.
Проснувшись, он к рулю идет,
не видя волн беспечной пляски,

и вниз уводит пароход
защитной, пасмурной окраски.
Бегут домишки по пятам,
и, бакен огибая круто,
отцовский домик капитан
как будто видит на минуту.
Но со штурвала своего
потом уже не сводит взгляда,
и на ресницах у него
тяжелый пепел Сталинграда.





Родители Александра Георгиевна
и Михаил Павлович Тушновы

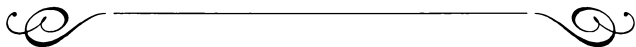


СТИХИ О ГУДКЕ

Я с детства любила гудки на реке,
я вечно толклась у причала,
я все пароходы
еще вдалеке
по их голосам различала.
Мы часто таким пустяком дорожим,
затем что он с детства привычен.
Мне новый гудок показался чужим,
он был бессердечен и зычен.
И я огорчилась,
хотя я сюда
вернулась, заведомо зная,
что время иное, иные суда
и Волга-то, в общем, иная.
А все-таки он представлялся в мечте,
как прежде, густым, басовитым...
Мы вышли из шлюзов уже в темноте
и двинулись морем открытым.
Я не узнавала родные места,
где помнила каждую малость.
В безбрежности
пепельных вод широта
с темнеющим небом сливалась.
Рвал ветер низовый
волну на клочки,
скитался равниною пенной,

и только мигали в ночи маячки,
как звездочки в безднах вселенной.
Барометр падал,
и ветер крепчал,
зарница вдали полыхала,
и вдруг нелюбимый гудок закричал,
и вдруг я его услышала.
С чего же взяла я? Он вовсе не груб,
он речью своей безыскусной
похож на звучанье серебряных труб,
пронзительный, гордый и грустный...
Он, как тетива, трепетал над водой,
под стать поражающей шири,
такой необычный, такой молодой,
еще не обвыкшийся в мире.
И так покоряло его торжество,
его несвершенности сила,
что я не могла не влюбиться в него
и прежней любви изменила.
И нет сожаленья о прошлом во мне,
в неверности этой не каюсь...
Что делать — живу я
в сегодняшнем дне
и в завтрашнем жить
собираюсь!





...Родилась в Казани, где жила до шестнадцати лет. Окончила среднюю школу, затем поступила в Медицинский институт. В 1931 году переехала с семьей в Ленинград. Получила диплом врача, но специализироваться по какой-либо отрасли медицины не стала, так как медицину не любила и мечтала учиться в Институте изобразительных искусств.

Мечтам моим не суждено было осуществиться. В 1935 году мы переехали в Москву, отец мой умер, и обстоятельства не позволяли думать о перемене специальности.

Я работала в одной из лабораторий ВИЭМ и одновременно занималась живописью в студии Дома ученых...

...Затрудняюсь сказать, когда было написано мной первое стихотворение. Вероятно, в девять — десять лет. Помню, что в школе я постоянно писала, особенно в последних классах...

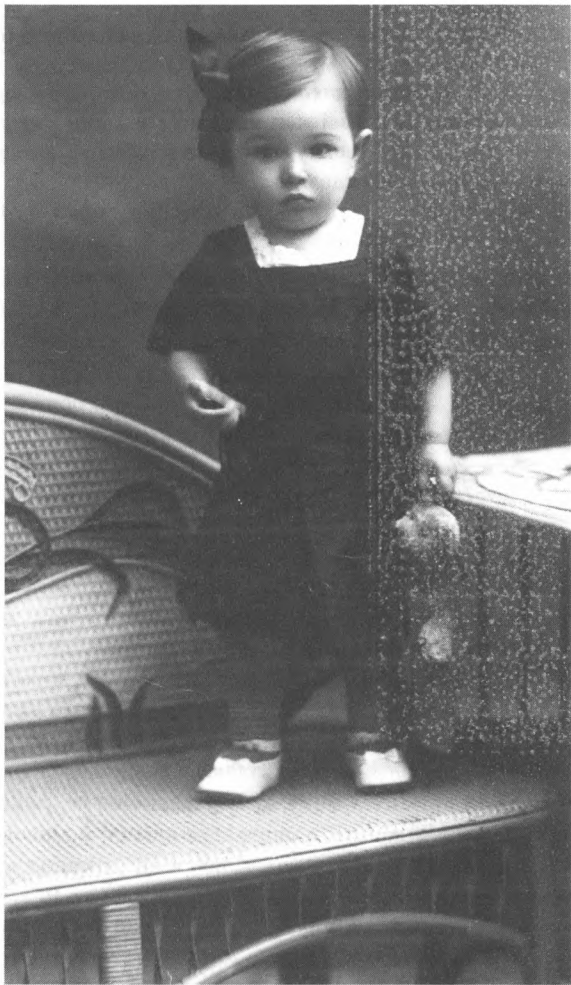
...Перед войной я написала очень много, и впервые обратилась за помощью к Вере Инбер. По совету Веры Михайловны я подала заявление в Литературный институт, была принята, но начавшаяся война разрушила все мои планы. Я с маленьким ребенком и больной матерью эвакуировалась из Москвы и всю войну работала в эвакуогоспиталях. Работа была чрезвычайно тяжелой, и я впервые перестала жалеть о потерянных годах, чувствуя себя нужной и полезной стране. Этот период моей жизни считаю

переломным. В 1943 году каждая свободная минута была посвящена творчеству...

...Сейчас работаю еще больше. Много в себе меня не удовлетворяет... Труд мой дает мне много радости и столько же огорчений, когда я вижу, как мало похоже то, что я делаю, на то, что я хочу сделать...

Из автобиографии. 1947 г.





Веронике год



ГОЛУБИ

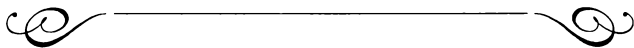
Тусклый луч блестит на олове,
мокрых вмятинах ковша...
Чуть поваркивают голуби,
белым веером шурша.
Запрокидывают голову,
брызжут солнечной водой,
бродят взад-вперед по желобу
тропкой скользкой и крутой.
Бродят сонные и важные,
грудки выгнуты в дугу,
и блестят глаза их влажные,
как брусника на снегу.
Сад поник под зноем парящим,
небо — синьки голубей...
Ты возьми меня в товарищи,
дай потрогать голубей. —
Верно, день тот был удачливым —
ты ответил: — Ладно, лезь... —
Дребезжать ступеньки начали,
загремела гулко жесть...
Мне расти мальчишкой надо бы —
у мальчишек больше льгот...
А на крыше — пекло адово,
сквозь подошвы ноги жжет.

Целый час с тобой стояли мы
(неужели наяву?),
птицы в небо шли спиралями,
упирались в синеву...
Воркованье голубиное,
смятый ковш, в ковше — вода...
А часы-то в детстве длинные —
и такие же года.
Кто их знал, что так прокатятся,
птичьей стайкой отсверкав...
Я ли это — в белом платице,
с белым голубем в руках?





С отцом



МЕЩАНСКИЕ ЦВЕТЫ

Не понимаю, в чем они повинны,
Все эти розовые бальзамины
И фуксии с подвесками атласными
Пунцово-белыми, лилово-красными.

Едва увижу их, перед глазами
Старинный пыльный пригород Казани,
Дом в три окошка, где отец мой рос,
А в окнах — шапки огненной герани.
(В слободке не выращивали роз.)

Я представляю крошечное зальце
С великолепным фикусом в углу.
Врастяжку дремлют солнечные зайцы
На выкрашенном охрою полу.

Перед диваном столик несуразный,
Трюмо, как будто в ряске озерцо...
У женщины худой и черноглазой
Надменное от горестей лицо.

Заштопанные бережно скатерки,
Дешевый голубой сервизик в горке
И чистота — до блеска, до сиянья,
Единственная роскошь бедноты.
А вот цветы — всех смертных достоянье...

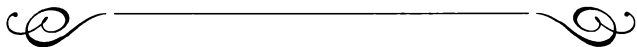
Да, я люблю мещанские цветы,
Я без кавычек ставлю это слово

В его первоначальном смысле, в том,
Что люди жили тяжело и сурово,
А труд во все эпохи был трудом.

...Цветы цвели смиренно, безотказно,
В подвалах и на чердаках цвели,
В кастрюльках ржавых,
В банках безобразных,
Цвели — благословение земли.

Теперь, когда конец домишкам тесным
И все иначе, именно теперь,
Мне кажется особенно нечестным
Взять и захлопнуть перед ними дверь.

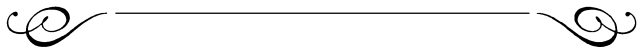




ЧУДЕСА

Как ни покажется это нелепо вам,
но едва разгоралась заря малиново,
я просыпалась от
великолепного,
важного, грозного рыка
львиного.
Ржавый тополь шумел
у окна открытого.
Высыхало... Теплело... Тянуло чадом...
Всех готова жалеть я,
кто не испытывал
величайшего счастья —
жить с цирком рядом.
Просыпаться и тотчас, не тронув чая,
обманувши бдительность домочадцев,
к сердцу хлеб похищенный прижимая,
к заветному лазу в заборе
мчаться!
Я помню, мама диву давалась —
куда столько хлеба у нас девалось?
Ведь жили тогда мы
в приволжском городе,
еще не успевшем забыть о голоде.
Но я ни о чем не думала, кроме
восхитительной дружбы
слоненка Томми.

Я вдыхала чудесный запах конюшен,
запах опилок, острый и свежий,
двери были раскрыты, огонь потушен,
шли репетиции на манеже.
Меня давно гонять перестали,
чередой привычной текла работа,
трико стеклярусом не блистали,
они темнели от пятен пота.
Я часами не отрываясь глядела,
с какой беспощадностью и упорством
эти люди себе подчиняли тело,
чтобы трудное стало легко и просто.
Я часами не отрываясь глядела,
как размеренно-ровно качалась лестница,
как в десятый и в сотый
четко и смело,
как пружинка,
взлетала моя ровесница.
Изредка меня родители брали
на вечернее представление.
Бодро марши гремели,
трико сверкали
в непривычно-торжественном отдалении.
И хотя я помнила, как им трудно —
друзьям моим — давалась удача,
все равно мне казалось
все это чудом,
да и нынче
не думаю я иначе.
И нынче я, вспоминая о многом,
радуюсь,
что когда-то в детстве
дни свои проводила в цирке убогом,
с чудесами такими в соседстве.



КОТЕНОК

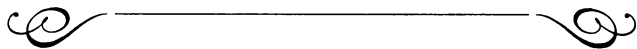
Котенок был некрасив и худ,
сумбурной пестрой раскраски.
Но в нашем семействе обрел уют,
избыток еды и ласки.
И хотя у котенка вместо хвоста
нечто вроде обрубка было,
котенок был —
сама доброта,
простодушный, веселый, милый...
Увы! Он казался мне так нелеп,
по-кроличьи куцый, приткий...
Мне только что минуло восемь лет,
и я обожала открытки.
Я решила: кто-нибудь подберет,
другой хозяин найдется,
я в траву посадила
у чьих-то ворот
маленького уродца.
Он воспринял предательство как игру:
проводил доверчивым взглядом
и помчался восторженно по двору,
забавно брыкая задом.
Повторяю — он был некрасив и тощ,
его я жалела мало.
Но к ночи начал накрапывать дождь,
в небе загромыхало...

Я не хотела ни спать, ни есть —
мерещился мне котенок,
голодный, продрогший, промокший весь
среди дождливых потемок.
Никто из домашних не мог понять
причины горя такого...
Меня утешали отец и мать:
— Отыщем... возьмем другого... —
Другой был с большим пушистым хвостом,
образец красоты и силы.
Он был хорошим, добрым котом,
но я его не любила.





С матерью



ЧИЖ

Я зерна сыпала чижу
и воду в блюде наливала.
Мне было... Сколько — не скажу, —
я до окна не доставала.

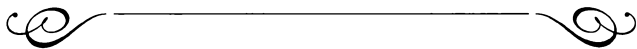
Я подставляла, помню, стул,
чижу просовывала ветку,
а чтобы вечером уснул,
платком завешивала клетку.

Суббота. Чистые полы.
Басы далеких колоколен.
И стекла празднично светлы.
А чиж молчит, угрюм и болен.

Закат ползет по скатам крыш;
звения, о стекла бьется муха...
В моих ладонях мертвый чиж,
не птица, нет, — комочек пуха.

И не доступная уму
тоска, сжимающая горло...
Сама не знаю почему,
но время этого не стерло.

Я помню: приоткрыла дверь,
и луч дрожит на этой двери...
Мне только, может быть, теперь
понятной стала та потеря.

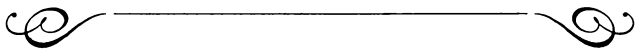


* * *

В альбомчике школьном снимки:
Сосны. Снега. Стога.
В рыже-лиловой дымке
давние берега.
Все, что тогда любила, —
выцвело, отошло.
Помнится только — было.
Ну, было — и хорошо!
Вечером на закате,
в особый июньский день,
девочки в белых платьях
в школу несут сирень.
Прошрое на закате
солнцем озарено.
Девочки в белом платье
нет на земле давно.
Это не боль, не зависть, —
юности милой вослед
смотрит не отрываясь
женщина средних лет.
Давнее теплое счастье
мимо нее прошло.
Кивнуло ей, усмехнулось
и скрылось... И хорошо!

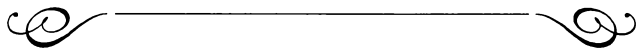
И хорошо, что годы
изменчивы, как река.
Новые повороты,
новые берега.





ВЕСЛО

Балалайка бренчала,
песни пела весна.
Прибежала я к причалу,
принесла два весла.
Мы с тобою плыли Волгой,
луговой стороной,
древесиной пахло волглой,
мгла легла пеленой.
Проглядела я излучину,
что лозой заросла,
утопила я уключину,
не сдержала весла.
Ты бранил меня недолго.
Тишина. Темнота.
Нас укачивала Волга,
шурша о борта.
Мы зажгли плавник наносный,
руки грели в золе.
Было холодно и звездно
на весенней заре.
Много было, да уплыло,
как по волнам весло,
было, было, много было,
да быльем поросло!



* * *

У каждого есть в жизни хоть одно,
свое, совсем особенное место.
Припомнишь двор какой-нибудь, окно,
и сразу в сердце возникает детство.

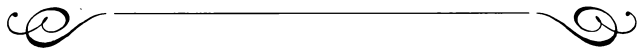
Вот у меня: горячий косогор,
в ромашках весь и весь пропахший пылью,
и бабочки. Я помню до сих пор
коричневые с крапинками крылья.

У них полет изменчив и лукав,
но от погони я не уставала —
догнать, поймать во что бы то ни стало,
схватить ее, держать ее в руках!

Не стало детства. Жизнь суровей, строже.
А все-таки мечта моя жива:
изменчивые, яркие слова
мне кажутся на бабочек похожи.

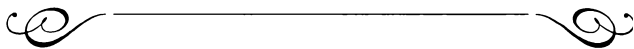
Я до рассвета по ночам не сплю,
я, может быть, еще упрямей стала —
поймать, схватить во что бы то ни стало!
И вот я их, как бабочек, ловлю.

И с каждым разом убеждаюсь снова
я в тщетности стремленья своего —
с пылью стертой, тускло и мертво
лежит в ладонях радужное слово.



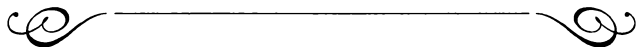
* * *

Нынче детство мне явилось,
приласкало на лету.
Свежим снегом я умылась,
постояла на ветру.
Надышалась,
нагляделась, —
ну какая красота!
Дня бессолнечного белость,
далее хвойная черта...
Снежно-снежно.
Тихо-тихо.
Звон в ушах — такая тишь.
В темных сенцах пахнет пихтой,
у порога — пара лыж.
Пара струганых дощечек,
самоделье детских рук.
Сколько вещей и не вещей
снов скитается вокруг...
Где таилось,
где хранилось?
Вдруг припомнил человек:
хлебным квасом пахнет силос,
спелой клюквой пахнет снег.



СТАРЫЙ ДОМ

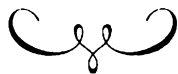
Сколько раз я мечтала
в долгой жизни своей
постоять, как бывало,
возле этих дверей.
В эти стены вглядеться,
в этот тополь сухой,
отыскать свое детство
за чердачной стрехой.
Но стою и не верю
многолетней мечте:
просто двери как двери.
Неужели же те?
Просто чье-то жилище,
старый розовый дом.
Больше, лучше и чище
то, что знаю о нем.
Вот ведь что оказалось:
на родной стороне
ничего не осталось, —
все со мной и во мне.
Зря стою я у окон
в тихой улочке той:
дом — покинутый кокон,
дом — навеки пустой.

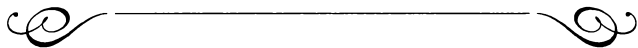


ПРОЩАНИЕ

У дебаркадеров лопочет
чернильно-черная вода,
как будто высказаться хочет,
да не умеет — вот беда!
Как будто бы напомнить хочет
о важном, позабытом мной,
и все вздыхает, все бормочет
в осенней теми ледяной.
Мой давний город, город детства
в огнях простерт на берегу.
Он виден мне, а вот взглядеться
в себя, былую, не могу.
Чувств неосвоенная область,
смятенных дум круговорот.
Напрасно старенький автобус
меня на набережной ждет.
Ах, если б не рассудка строгость
и не благоразумья власть!
Но тонко просвистела легкость,
и связь, как нить, оборвалась.
И вот уже клубит сугробы
и за кормой шумит вода,
и город в ночь уходит, чтобы
не воротиться никогда.

И не сказать, как это грустно,
и взять бы кинуться вослед...
Но жизнь с трудом меняет русло,
когда тебе не двадцать лет.



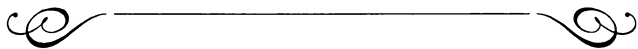


ИЗ ОКНА ВАГОНА

В сугробы осыпая блески,
мерцающая пылью ледяной,
белоголовые березки
перебегают под луной.
Они повергнуты в смятенье
и перепуганы до слез...
Их светло-дымчатые тени
шарахаются под откос.
А ели — те стоят спокойно,
лесной, задумчивый народ,
и смотрят из-под шалей хвойных
вдогонку вполуборот...
А по обочинам зыбучим,
почти у насыпи рябой,
кусты, ушанки нахлобучив,
бегут за поездом гурьбой.
А паровоз свистит и дразнит:
мол, не догонишь, не спеши...
Наверно, нынче зимний праздник
справляется в лесной глуши.
Там все в серебряном тумане,
в лиловом ледяном огне,
и, верно, где-то на поляне
танцуют зайцы при луне.
Пойти туда бы, покружиться
по хитрой заячьей тропе,

но только отсветы, как птицы,
влетают в темное купе
и между спящими с опаской
кружат, пока не рассвело,
и над моей постелью тряской
роняют светлое перо.



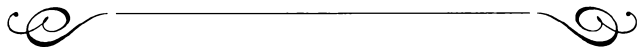


СОН

Мне все это снилось еще накануне,
в летящем вагоне, где дуло в окно...
Мне виделся город в дыму полнолуны,
совсем незнакомый, любимый давно.
Куда-то я шла переулком мощеным,
в каком-то дворе очутилась потом,
с наружною лестницей
и освещенным
зеленою лампой
чердачным окном.
И дворик, и облик старинного дома —
все было пугающе, страшно знакомо,
и, что-то чудесное вспомнить спеша,
во мне холодела от счастья душа.
А может, все было не так, а иначе,
забыто, придумано...
Будем честны:
что может быть неблагодарней задачи
невнятно и длинно рассказывать сны?
Коснись — и от сна отлетает дыханье,
с мерцающих крыльев слетает пыльца.
И — где оно, где оно? — то полыханье,
которое в снах озаряет сердца?
Но жизнь мне послала нежданную помощь:

я все отыскала — и город, и полночь,
и лестницу ту, и окошко в стене...
Мне память твердила: теперь-то ты помнишь?
А мне все казалось, что это во сне.





* * *

Я помню, где-то,
далеко вначале,
наплававшись до дрожи поутру,
на деревенском стареньком причале
сушила я косенки на ветру.

Сливались берега за поворотом,
как два голубо-сизые крыла,
и мне всегда узнать хотелось:
что там?

А там, за ними,
жизнь моя была.

И мерилась, как водится, годами,
и утекали годы, как вода...

Я знаю, что́
за синими горами,
и не хочу заглядывать туда.





Вероника-студентка



ПОЭМА ПАМЯТИ

Далекó, далёко начало;
Начинала... Потом молчала...
Сколько раз принималась снова,
и давала зарок сурово,
и опять его нарушала...
Что-то мне досказать мешало.
Безутешно и неумело
я твой облик сберечь хотела,
по крупицам я собирала
все, что помнила, все, что знала...
Ты тускнела и ускользала.
Годы шли своей чередой,
то с удачами, то с бедой,
и уже я не собиралась
сохранять тебя от забвенья —
ты сама в мою жизнь вторгалась
как надежда и осуждение.
Лишь теперь мне понятно стало,
что всему наступают сроки,
что несвязные эти строки
много разных людей писало.

Ночь. Январь. Сорок пятый.
Умирает родной человек.
Глаз невнятные пятна,
тяжелая выпуклость век...
Кем-то брошен на лампу
неглаженный белый платок...
Пять нетронутых ампул,
со шприцом блестящий лоток...
Я держу твою руку,
щекой прижимаюсь к руке.
Как неясно, как хрупко
твой голос звучит вдалеке.
Значит, дальше нельзя.
Значит, здесь расставаться.
Сейчас.
Точно мрак разлился,
точно отсвет последний погас...
Ты все дальше, все дальше,
все глубже, чернее вода...
Да откликнись же, дай же
только знак!
Тишина.
Навсегда.

Что я помню? Что я знаю?
Все с собой ты унесла.
Желтый снимок...
Вспоминаю:
в этом доме ты росла.
Вспоминаю, вижу, слышу:
утро, солнце, шум берез...
Между солнечных полос

девочка с босыми ножками,
в синем платице горошками,
с мягким ежиком волос.
А на шейке привезенный
кем-то с ярмарки борок.
Сзади домик трехконный,
белый струганый порог.
Как заманчив, гладок, ярок
тот копеечный подарок —
в три ряда на шейке нить.
Все бы трогать да крутить.
Полился из рук борок,
брызжут бусинки у ног.
Вот и все. Как это мало!
Девочка в селе росла,
а потом ее не стало
в ночь такого-то числа.
И в январском свете мутном
седина потухших кос...
Между тем и этим утром
полстолетия улеглось.
Встречи, радости, тревоги,
неспокойные года,
песни, люди, города...
Смотришь — и конец дороге.
И никто о ней не вспомнит,
и спросить не довелось...
.....

А в одной из дальних комнат
девочка топчет ножками,
в синем платице горошками,
с мягким ежиком волос.

А люди стучатся и ходят по лестнице,
и все это будто не наяву.

Мы с маленькой внучкой твоею ровесницы —
я маму сегодня, как в детстве, зову,
а мама покойся в желтом гробу,
и нет ни морщинки на солнечном лбу.
Светает. Потом начинает смеркаться.
Потом темнота наступает опять...
В несчастье страшнее всего — просыпаться,
и я через силу стараюсь не спать.
Мне кто-то приносит горячего чаю,
со мной говорят,
и я отвечаю,
но гул пустоты подступает к ушам...

.....

Далёко степное село Черемшан.
В реке Черемшан — ледяная вода...
Я там не была. Никогда.
Никогда.

Горит огонь. Его давно не надо,
и занавеска на окне бела.
Шуршат платаны.
Первая цикада
железную трещотку завела.
Явись ко мне такой, как память помнит:
светловолосой, тонкой, молодой...
(А на Ваганьковском высокий холмик
давно зарос мучнистой лебедой.)
Я закрываю мокрые ресницы,
чтобы не видеть этой пустоты.
Качнется рама, скрипнет половица,
вспорхнет листок — и это будешь ты.
Ты скажешь мне с обыденным укором:
Совсем светло, а ты еще не спишь! —
Тебе в ответ цикады грянут хором,
прострачивая утреннюю тишь,
и облака взлетят над морем выше,
неся на спинах теплую зарю,
и ничего, что я тебя не слышу,
что я сама все это говорю.
Мне подтвержденья твоего не надо,
мне не нужны звучащие слова.
Я — оправдание твое, отрада,
я все, чем ты теперь еще жива.
Я все, что в мире от тебя осталось,
пускай у нас несхожие черты,
я жить должна во что бы то ни стало,
чтобы во мне существовала ты.
Мне б на тебя глядеть не наглядеться,
а я спешила, время торопя,

я без оглядки предавала детство,
воспоминанья, прошлое, тебя...
Пока я там захлебывалась ветром,
ты одиноко собиралась в путь.
Зима. Глухие вечера без света.
Седая замороженная муть.
Одним часам не лень шуршать и тикать,
за окнами горланит воронье,
а в комнате так нестерпимо тихо,
как будто смерть уже вошла в нее.
И ты одна, не шевелясь, не плача,
глядишь упорно в черноту угла.
Прости меня — я не могла иначе.
Я и теперь бы тоже не смогла!

У каждого бывает в жизни час
всего святее и всего дороже.
Придет пора, и наши дети тоже
на что-нибудь да променяют нас.
Что это будет? Лунный перелет?
Любимый? Или рукописей груды?
Не знаю что. И узнавать не буду.
Что б ни было — прощаю наперед.

Ты здесь жила. Ты торопилась к морю
тропинкой этой, ломкой и крутой,
и молочай шумел на косогоре,
и пыль взлетала тучкой золотой.
Тогда вот так же бронзовели лозы
за низкорослой кладкою камней...
Нет, глаз моих не застилают слезы,
сквозь слезы мне тебя еще видней.
Синели так же аспидные кручи,
у ног взрывалась пенная дуга.

По этой гальке — смуглой и текучей —
ступала легкая твоя нога.
Ты здесь сидела на каком-то камне.
Как догадаться — этот или тот?
Как воскресить мне этот год недавний,
последний твой неомраченный год?
...Июньский шторм.
Наутро небо мгlisto.
Скребет о камни острая волна.
И вдруг ты видишь мальчика-радиста:
«Война! — кричит он. — Слышите, война!»

Война прошла. И вспоминать не надо.
Я вижу море, море наяву!
Шипящая соленая прохлада
и грузный гул... И я дышу. Живу!
Мне волны туго обнимают тело,
на гребнях пена яростно бела,
и ровный зной... Ты так его хотела!
И я вот здесь. А ты не дожидла.
На ветхой карте, в темном коридоре,
где уживались сквозняки и дым,
овалом милым голубело море.
Ты подходила и читала: «Крым».
И море шло грядой зеленой мимо,
и кровь кропила хрупкий известняк,
и было два несовместимых Крыма,
и для тебя навек осталось так.
Нет, нет, ты знала. Дожидалась: скоро!
Гремел салют — просила: подними!
Из-за тяжелой пропыленной шторы,
крутятся, влетали в комнату огни...
И крест окна, и трепыханье веток,

и гаснущей ракеты полоса —
все это наполняло напоследок
сияющие мокрые глаза.
И я касалась щек твоих, лаская,
еще донине губы солоньи...
Но то не слезы — только пыль морская,
летучее дыхание волны.
Война прошла.
В земле спокойно спишь ты.
А в этом небе цвета бирюзы
опять беззвучно полыхают вспышки
то тут, то там блуждающей грозы.
И снова где-то дымный ветер дует
над пустырем расстрелянных полей,
и снова где-то женщины целуют
в последний раз мужей и сыновей.
Да, вот он — мир.
И сколько он продлится?
Да, вот он — век.
И жить нам в веке том.
Всю нашу жизнь
«покой нам только снится...»,
и снится очень изредка притом...



есть на все «почему» и «откуда»
ответы.

Я такой же была...

Так, наверное, надо.

А потом... до чего кратковременно это!

Скоро жить начинаем мы как бы сначала;

понимаем, что сложно живется на свете,

что любимых любили мы плохо и мало

и что, в сущности, мы

те же самые дети.

Предстают по-другому все наши поступки...

Помню я,

по одной из московских улиц

мама, мама моя

в старой плюшевой шубке

одинокое шагает, слегка сутулясь.

Мне догнать бы ее, проводить до трамвая, —

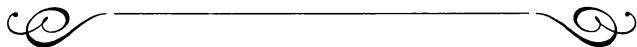
до чего бы, я знаю, была она рада.

Ах, как часто теперь я о ней вспоминаю...

Юность вечно спешит.

Так, наверное, надо?!





* * *

Сколько милых ровесников
в братских могилах лежит.
Узловатая липа
родительский сон сторожит.
Все беднее теперь я,
бесплотнее день ото дня,
с каждой новой потерей
все меньше на свете меня.
Черноглазый ребенок...
Давно его, глупого, нет.
Вместо худенькой девушки —
плоский бумажный портрет.
Вместо женщины юной
осталась усталая мать.
Надлежит ей исчезнуть...
Но я не хочу исчезать!
Льются годы рекою,
сто обличий моих хороня,
только с каждой строкою
все больше на свете меня.
Оттого все страшнее мне
браться теперь за перо,
оттого все нужнее
разобраться, где зло, где добро.
Оттого все труднее
бросать на бумагу слова:

вот, мол, люди, любуйтесь,
глядите, мол, я какова!
Чем смогу заплатить я
за эту прекрасную власть,
за высокое право
в дома заходить не стучась?
Что могу?
Что должна я?
Сама до конца не пойму...
Только мне не солгать бы
ни и чем,
 никогда,
 никому!





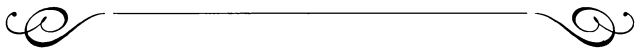
* * *

Пусть мне оправдываться нечем,
пусть спорны доводы мои, —
предпочитаю красноречью
косноязычие любви.

Когда волненью воплотиться
в звучанье речи не дано,
когда сто слов в душе родится
и не годится
ни одно!
Когда молчание не робость,
не ощущение того,
какая отделяет пропасть
слова от сердца твоего.

О сердце, склонное к порывам,
пусть будет мужеством твоим
в поступках быть красноречивым,
а в обожании — немым.

И что бы мне ни возразили,
я снова это повторяю.
...Прости меня,
моя Россия,
что о любви
не говорю.



БЕССОННИЦА

Кряхтели рамы, стекла звякали,
И все казалось мне:

вот-вот

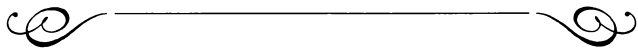
уснувший дом сорвется с якоря
и в ночь, ныряя, поплывет.
Луна катилась между тучами,
опутанная волокном,
как мачта,

дерево скрипучее
раскачивалось под окном.
Давным-давно легли хозяева,
огонь погас.

А сна все нет.

И заманить ничем нельзя его.
И долго мешкает рассвет.
От окон тянет острым холодом,
и хорошо и страшно мне.
Все крепко спят.

И с грозным городом
я остаюсь наедине.
Наш утлый дом по ветру носится,
раскачивается сосна...
И до чего ж она мне по́ сердцу,
азербайджанская весна!



СТАНЦИЯ БАЛАДЖАРЫ

Степь, растрескавшаяся от жара,
не успевшая расцвести...
Снова станция Баладжары,
перепутанные пути.
Бродят степью седые козы,
в небе медленных туч гурты...
Запахавшиеся паровозы
под струю подставляют рты.
Между шпалами лужи нефти
с отраженьями облаков...
Нам опять разминутся негде
с горьким ветром солончаков.
Лязг железа, одышка пара,
гор лысеющие горбы...
Снова станция Баладжары
на дороге моей судьбы.
Жизнь чужая, чужие лица...
Я на станции не сойду.
Улыбается проводница:
— Поглядите, мой дом в саду! —
В двух шагах низкорослый домик,
в стеклах красный, как медь, закат,
пропыленный насквозь тутовник...
(А она говорила — сад.)
Но унылое это место,
где ни кустика нет вокруг,

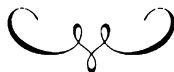
я глазами чужого детства
в этот миг увидала вдруг,
взглядом девушки полюбившей,
сердцем женщины пожилой...
И тутовник над плоской крышей
ожил, как от воды живой.

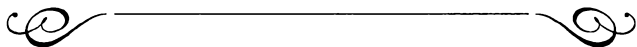


Счастье ходит со мной по дороге любой...
А покой...

А покоя не будет нигде.

В час, когда занимался рассвет голубой,
я пришла попрощаться к ханларской воде.





ОСЕНЬ В ЛАТВИИ

На́ море вода похолодела,
кажется тяжелой и литой...
И на узенькую Юрас-иела
льется с вязов ливень золотой.
Посмотри, как рассветает поздно,
как становится с недавних пор
все грознее по ночам беззвездным
ветра нарастающий напор...
А наутро замолкают сосны,
белки верещат над головой,
море светит синью купоросной,
воздух дышит пылью штормовой.
Рыбаки просушивают сети,
дюны ослепительно белы,
смуглые, обветренные дети
чайками взлетают на валы.
Пахнет морем, яблоками, хвоей,
над селеньями пернатый дым...
Все труды оплачены с лихвою —
свежим хлебом, медом молодым.
Хорошо здесь осенью, и все же
не могу я больше ждать ни дня:
там, в Москве, тоску мою тревожа,
осень наступает без меня...

Мост крылатый, парк полиловелый,
кручи башен над Москвой-рекой.

.....

Прохожу я тихой Юрас-иела,
в переводе — улицей Морской.





* * *

День осенний... день ненастный,
тучи, тучи без конца...
Вдоль дорог шиповник красный
от Страшен до Быковца.

В камыше туманы ткутся,
как в дыму холмов валы...
По шоссе влекут каруцы
флегматичные волы...

И когда летит трехтонка,
вся в пыли, за поворот,
жметя жалобно в сторонку
устаревший транспорт тот.

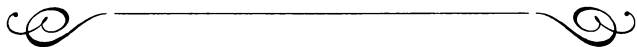
В кукурузе бродит ветер,
косы желтые трепля...
Листья с шорохом на грейдер
осыпают тополя...

Ах, Молдавия, Молдова,
всей душою люблю,
как же я останусь снова
без хорошей без тебя?

Как же нам с тобой проститься,
если натвердо не знать,
что весной с зимовья птицы
возвращаются опять?!

Разлетается по склонам
лета мертвая краса...
Фрунзе верде — лист зеленый —
от души оторвался!



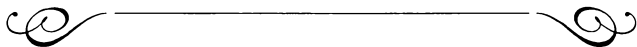


ЛИТВЕ

Я разные видала
края и города.
С какими-то бывала
я дружною горда.
Иные были суше
и сдержанней подчас...
У них ведь тоже души
такие ж, как у нас.
Встречалась, изумлялась
и — не скрываю я, —
как девочка, влюблялась
в прекрасные края.
Потом я старше стала
и строже на слова,
и сердце раскрывала,
подумавши сперва,
и замолчала вовсе,
и, годы обвиня,
подумала, что осень
настала для меня,
что сердце охладело
и дар любви иссяк...
Послушай, в чем же дело?
Послушай, как же так?
Ведь многое красивей,
заманчивей, щедрей

твоих одетых в иней,
пустых твоих полей,
твоих лесов неслышных,
твоих прибрежных ив...
Застенчиво глядишь ты,
ресницы опустив.
Зачем же так мне помнится,
такой зовет тоской
твой тихий облик, скромница,
с улыбкой колдовской?
Я нежностью безмерною,
как светом, налита.
Ты знаешь, я, наверное,
люблю тебя, Литва.





* * *

Резкие гудки автомобиля,
сердца замирающий полет.
В облаках белесой крымской пыли
прячется неожиданный поворот.

Полны звона выжженные травы.
Ветром с губ уносятся слова.
Слева склоны, склоны, а направо —
моря сморщенная синева.

Ветер все прохладнее. Все ближе
дальних гор скалистое кольцо.
Я еще до сумерек увижу
ваше загорелое лицо.

Но когда б в моей то было власти,
вечно путь я длила б, оттого
что минуты приближенья к счастью
много лучше счастья самого.





1930 год

* * *

О память сердца! Ты сильнее
Рассудка памяти печальной...

К. Батюшков

Память сердца! Память сердца!
Без дороги бродишь ты, —
луч, блуждающий в тумане,
в океане темноты.

Разве можно знать заранее,
что полюбится тебе,
память сердца, память сердца,
в человеческой судьбе?

Может, в городе — крылечко,
может, речка, может, снег,
может, малое словечко,
а в словечке — человек!

Ты захватишь вместо счастья
теплый дождь, долбящий жечь,
пропыленную ромашку
солнцу можешь предпочесть!..

Госпитальные палаты,
костылей унылый скрип...
Отчего-то предпочла ты
взять с собою запах лип.

И теперь всегда он дышит
над июньскою Москвой

той военною тревогой,
незабвенною тоской...

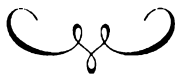
А когда во мгле морозной
красный шар идет на дно —
сердце бьется трудно, грозно, —
задыхается оно...

Стук лопаты, комья глины,
и одна осталась я...
Это было в час заката,
в первых числах января.

А когда в ночи весенней
где-то кличет паровоз,
в сердце давнее смятение,
счастье, жгучее до слез!

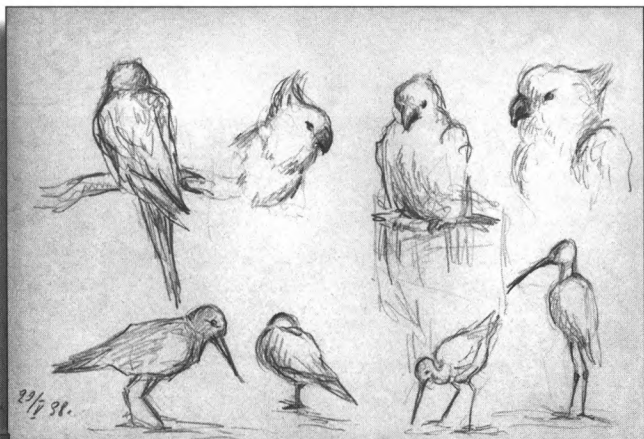
Память сердца! Память сердца!
Где предел тебе, скажи!
Перед этим озареньем
отступают рубежи.

Ты теплее, ты добрее
трезвой памяти ума...
Память сердца, память сердца,
ты — поэзия сама!





Рисунки Вероники Тушповой





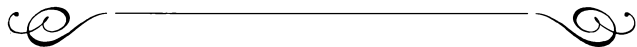


Еще не умер отзвук
дикой железной
музыки войны...





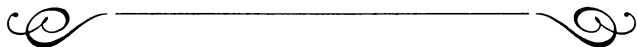
Воспные годы



...Вероника Михайловна не была обычным лечащим врачом. Она бросалась всей душой и силами в судьбу раненого, больного, на помощь, как при сигнале SOS. Она больно обжигалась о человеческие страдания, о боль и крик, о незабываемые глаза бойцов. Из этого рождались стихи. Раненые любили ее восхищенно. Ее необыкновенная женская красота была озарена изнутри, и поэтому так затихали бойцы, когда входила Вероника...

Из воспоминаний хирурга госпиталя №5022 Надежды Ивановны Лыткиной





НОЧНАЯ ТРЕВОГА

Знакомый, ненавистный визг...
Как он в ночи тягуч и режущ!
И значит — снова надо вниз,
в неведение бомбоубежищ.

И снова поиски ключа,
и дверь с задвижкой тугою,
и снова тельце у плеча,
обмякшее и дорогое.

Как нáзло, лестница крута, —
скользят по сбитым плитам ноги;
и вот навстречу, на пороге —
бормочущая темнота.

Здесь времени потерян счет,
пространство здесь неосязаемо,
как будто жизнь, не глядя, мимо
своей дорожкой течет.

Горячий мрак, и бормотанье
вполголоса. И только раз
до корня вздрагивает зданье,
и кто-то шепотом: «Не в нас».

И вдруг неясно голубой
квадрат в углу, на месте двери:
«Тревога кончилась. Отбой!»
Мы голосу не сразу верим.

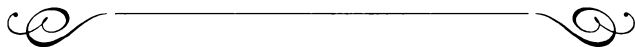
Но лестница выводит в сад,
а сад омыт зеленым светом,
и пахнет резедой и летом,
как до войны, как год назад.

Идут на дно аэростаты,
покачиваясь в синеве.
И шумно ссорятся ребята,
ища осколки по примятой,
белесой утренней траве.





Дома...



СТИХИ О ДОЧЕРИ

Наташе

I

Душная, безлунная
наступила ночь.
Все о сыне думала,
а сказали: «Дочь».

Хорошо мечтается
в белизне палат...
Голубые лампочки
у дверей горят.

Ветер стукнул форточкой,
кисею струя.
Здравствуй, милый сверточек,
доченька моя!

Все такое синее,
на столе — цветы.
Думала о сыне я,
а родилась — ты.

Ты прости, непрощеный
ежик сонный мой.
Я тебя, хорошую,
отвезу домой.

Для тебя на коврике
вышита коза,
у тебя, наверное,
синие глаза...

Ну... а если серые
маме все равно.

.....

Утро твое первое
смотрится в окно.

III

Ты счета не ведешь годам,
встречая только третье лето.
Твоих мгновений череда
туманом солнечным одета.

Уколы маленьких обид
тебя еще не могут ранить,
и огорчений не хранит
твоя ребяческая память.

И, милой резвости полна, —
как знать ребенку тяжесть ноши? —
ты слово новое — «война» —
лепечешь, хлопая в ладоши.

IV

Вагон бросало и качало.
Молчали все. А вечер гас.
И каждый знал: еще начало,
еще неясный первый час.

Казалось мне: за далью алой
гремят грядущие бои...
Но как бессильно я сжимала
ручонки пыльные твои!

А после ночь. Без искры света
свершался необычный путь.
Скажи, ответь — ты помнишь это?
И если помнишь — позабудь.

Живи, цветам и песням рада,
смеясь, горя и любя,
а помнить этого не надо:
я буду помнить за тебя.

Тревога. Грусть. Приходит почтальон —
ни весточки о милом человеке...

А городок метелью занесен
до самых крыш. И, кажется, навеки.

Наш новый дом в сугробах под горой,
к нему бежит петлистая дорожка,
в нем есть окно за ледяной корой,
печурка есть, горячая картошка.

Есть девочка. Зеленые глаза,
лукавый рот и бантик цвета мака.
Есть девочка. При ней нельзя заплакать,
при ней нельзя о горьком рассказать.

Она поймет. С детской теплотой
ладошки мягкие ко мне на плечи лягут...
Нельзя при ней, при маленькой такой, —
ей рано знать печаль житейских тягот.

Я напишу ей буквы на листе,
я нарисую зайчика в тетради.
Я засмеюсь — ее улыбки ради.
Я буду плакать после, в темноте...

VII

А круг все ширится. В него вовлечены
природа, люди, города и войны.
Теперь ей книжки пестрые нужны:
упав, она не говорит, что больно.

Не любит слово скучное «нельзя»,
все льнет ко мне, работать мне мешая.
Как выросла! Совсем, совсем большая, —
мы с ней теперь хорошие друзья.

Она со мною слушает салюты,
передвигает красные флажки
и, Прут найдя на карте в полминуты,
обводит пальцем ниточку реки.

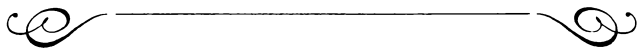
Понятлива, пытлива и упряма.
На многое ответы ей нужны.
Она меня спросила как-то: «Мама,
а было так, что не было войны?»

Да. Было так. И будет, будет снова.
Как хорошо тогда нам станет жить!
Ты первое услышанное слово
еще успеешь в жизни позабыть.





С научным руководителем
профессором В. И. Лаврентьевым. ВИЭМ



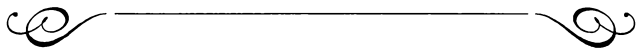
* * *

Насыпает камешки в ведерки,
носит от скамейки до ворот...
Я стою на солнечном пригорке
в первый раз в пилотке, в гимнастёрке...
Девочка меня не узнает.

Я сама себя бы не узнала
три недолгих месяца назад...
Вдруг она вгляделась, подбежала,
засмеялась: «Мама, ты солдат?»

Жестяные пыльные ведерки
раскидала посреди двора...
Для нее пока еще игра —
новый двор и мама в гимнастёрке.



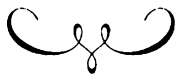


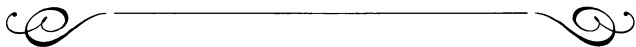
* * *

Уходит день. В углах синее тени.
Бледнеют туч румяные края.
Ко мне, как медвежонок, на колени
карабкается девочка моя.

Беру ее, касаюсь шейки тонкой,
откидываю волосы со лба.
Она смеется беззаботно, звонко,
она со мной, храни ее судьба!

В такое время нелегко на свете,
и много в жизни сожжено дотла.
Я никогда не думала, что дети
приносят столько мира и тепла.





БЕЖЕНЕЦ

Он из теплушки на траву горячую
по-стариковски прыгнул тяжело.
В косых лучах столбы вдали маячили,
и все в степи жужжало и цвело.

Внезапная прохлада наплывала,
вода журчала в чаще ивняка,
и эту воду пили у привала
и брали в чайник вместо кипятка.

Старик лежал, глазами безучастными
следа за колыханьем колоска.
Десятками травинок опоясанный,
зеленый мир качался у виска.

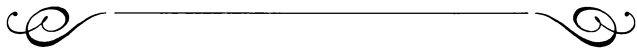
Июльский воздух, раскаленный, зримый,
над степью тек. Старик лежал на дне.
Все, не касаясь, проходило мимо.
Он жил все там — в своем последнем дне.

Такое же вот солнце заходящее,
бормочущего сада забытье,
мычанье стада и в кустах блестящее
днестровское тяжелое литье.

От памяти нам никуда не деться,
не выжечь в мыслях прошлого огнем,
но если лучше в прошлое взглядеться,
увидеть можно будущее в нем.



В годы войны



КУКЛА

Много нынче в памяти потухло,
а живет безделица, пустяк:
девочкой потерянная кукла
на железных скрещенных путях.

Над платформой пар от паровозов
низко плыл, в равнину уходя...
Теплый дождь шушукался в березах.
но никто не замечал дождя.

Эшелоны шли тогда к востоку,
молча шли, без света и воды,
полные внезапной и жестокой,
горькой человеческой беды.

Девочка кричала и просила
и рвалась из материнских рук, —
показалась ей такой красивой
и желанной эта кукла вдруг.

Но никто не подал ей игрушки,
и толпа, к посадке торопясь,
куклу затоптала у теплушки
в жидкую струящуюся грязь.

Маленькая смерти не поверит,
и разлуки не поймет она...
Так хоть этой крохотной потерей
дотянулась до нее война.

Некуда от странной мысли деться:
это не игрушка, не пустяк, —
это, может быть, обломок детства
на железных скрещенных путях.





В КУДИНОВЕ

Небо чисто, зелено и строго.
В закопченном тающем снегу
танками изрытая дорога
медленно свивается в дугу.

Где-то на лиловом горизонте
низкий дом, запорошенный сад...
Ты подумай только: как о фронте,
о деревне этой говорят, —

где в то лето солнечные слитки
падали в смолистый полумрак,
где у сделанной тобой калитки
как-то утром распустился мак.

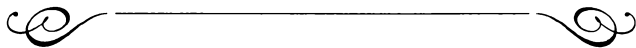
Где ночами, за белесой пряжей,
ухала унылая сова,
где у маленькой девчурки нашей
складывались первые слова.

Как душе ни трудно и ни тяжело,
все равно забыть я не могу
шелковую мокрую ромашку,
девочку на солнечном лугу.

Как теперь там странно, незнакомо,
каждый куст на прежний не похож,
как, наверное, страшна у дома
пулемета бешеная дрожь.

Как, наверное, угрюм и мрачен,
слыша дальний, все растущий вой,
у калитки старой нашей дачи,
стиснув зубы, ходит часовой.





КОСТЕР

Чахлый лес, сквозной, багряно-рыжий,
заткан солнцем вдоль и поперек.
Как сейчас я этот полдень вижу,
красный от брусники бугорок.

Корчится атласная берёста
на почти невидимом костре.
Мне с тобою весело и просто,
как девчонке, школьнице, сестре.

Наверху негреющая просинь,
зябких листьев вековечный спор.
Мы придем на будущую осень
в эту рощу разложить костер.

А на осень бушевала буря.
Ты вернулся без меня, один.
Потерялся в непривычном гуле
лепет перепуганных осин.

И в шинели серой, с автоматом
у березовых атласных ног
ты прилег за круглый и примятый
красный от брусники бугорок.

И пошли, пошли пути-дороги
колесить на тысячи ладов.
И стоишь теперь ты на пороге
незнакомых прусских городов.

Верно, скоро выйдет срок разлуке.
И, придя в знакомые места,
отогреем мы сердца и руки
у родного русского костра.





НОЧЬ

(Зима 1942 г.)

Смеясь и щуря сморщенные веки,
седой старик немислимо давно
нам подавал хрустящие чуреки
и молодое мутное вино.

Мы пили все из одного стакана
в пронзительно холодном погребке,
и влага, пенясь через край, стекала
и на землю струилась по руке.

Мы шли домой, когда уже стемнело
и свежей мглой потянуло с гор.
И встал до неба полукругом белым
морскою солью пахнувший простор.

От звезд текли серебряные нити,
и на изгибе медленной волны
дрожал блестящим столбиком Юпитер,
как отраженье крохотной луны.

А мы купались... И вода светилась...
И вспыхивало пламя под ногой...
А ночь была как музыка, как милость —
торжественной, сияющей, нагой.

.....

Зачем я нынче вспомнила про это?
Здесь только вспышки гаснувшей свечи,

и темный дом, трясущийся от ветра,
и вьюшек стук в нетопленной печи.

Проклятый стук, назойливый, как Морзе!
Тире и точки... точки и тире...

Окно во льду, и ночь к стеклу примерзла,
и сердце тоже в ледяной коре.

Еще темней. Свеча почти погасла.

И над огарком синеватый чад.

А воткнут он в бутылку из-под масла
с наклейкой рваной — «Розовый мускат».

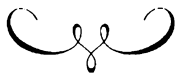
Как трудно мне поверить, что когда-то
сюда вино звенящее текло,
что знало зной и пенные раскаты
замасленное, мутное стекло!

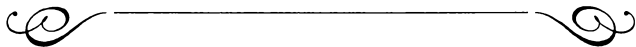
Наверно, так, взглянув теперь в глаза мне,
хотел бы ты и все-таки не смог
увидеть снова девочку на камне
в лучах и пене с головы до ног.

Но я все та же, та же, что бывало...

Пройдет война, и кончится зима.

И если бы я этого не знала,
давно бы ночь свела меня с ума.





* * *

Ты ложишься непривычно рано.
Прихожу, а комната темна.
Верно, спишь — я спрашивать не стану.
Света нет. И печка холодна.

Знаю, стосковалась ты по доме
долгою сибирскою зимой.
Взять тебя бы в теплые ладони,
отнести бы сонную домой.

Чтобы утром, как не расставались, —
круглый столик, снимок на стене...
Все, как раньше, все — любая малость,
издали любимая вдвойне.

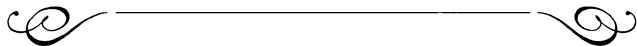
Чтобы, воду зажигая в кружке,
ластясь у знакомого плеча,
пролегли от окон до подушки
два косых смеющихся луча.

Чтобы ты, глаза от света жмуря,
озадаченная тишиной,
поняла, что отгремела буря,
что прошла, не тронув, стороной.

За тебя, за твой беспечный вечер,
за покой усталого лица
всю бы тяжесть я взяла на плечи
и дошла бы с нею до конца.

За окном морозного тумана
мутная глухая пелена.
Я тебя обманывать не стану:
продолжается война.





ХИРУРГ

Н. Л. Чистякову

Порой он был ворчливым оттого,
что полшага до старости осталось.
Что, верно, часто мучила его
нелегкая военная усталость.

Но молодой и беспокойный жар
его хранил от мыслей одиноких —
он столько жизней бережно держал
в своих ладонях, умных и широких.

И не один, на белый стол лежась,
когда терпеть и покоряться надо,
узнал почти божественную власть
спокойных рук и греющего взгляда.

Вдыхал эфир, слабел и, наконец,
спеша в лицо неясное взглядеться,
припоминал, что, кажется, отец
смотрел вот так когда-то в раннем детстве.

А тот и в самом деле был отцом
и не однажды с жадностью бессонной
искал и ждал похожего лицом
в молочном свете операционной.

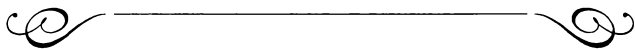
Своей тоски ничем не выдал он,
никто не знает, как случилось это, —
в какое утро был он извещен
о смерти сына под Одессой где-то...

Не в то ли утро, с ветром и пургой,
когда, немного бледный и усталый,
он паренька с раздробленной ногой
назвал сынком, совсем не по уставу.





В госпитале



-

МАТЬ

Года прошли,
а помню, как теперь,
фанерой заколоченную дверь,
написанную мелом цифру «шесть»,
светильника замасленную жечь,
колышет пламя снежная струя,
солдат в бреду...
И возле койки — я.
И рядом смерть.

Мне трудно вспоминать,
но не могу не вспоминать о нем...
В Москве, на Бронной, у солдата — мать.
Я знаю их шестиэтажный дом,
московский дом...
На кухне примуса,
похожий на ущелье коридор,
горластый репродуктор,
вечный спор
на лестнице... ребячьи голоса...
Вбегал он, покрасневшийся, в снегу,
пальто расстегивая на бегу,
бросал на стол с размаху связку книг —
вернувшийся из школы ученик.
Вот он лежит: не мальчик, а солдат,
какие тени темные у скул,
как будто умер он, а не уснул,

московский школьник... раненый солдат.
Он жить не будет.
Так сказал хирург.
Но нам нельзя не верить в чудеса,
и я отогреваю пальцы рук...
Минута... десять... двадцать... полчаса...
Снимаю одеяло, — как легка
исколотая шприцами рука.
За эту ночь уже который раз
я жизнь держу на острие иглы.
Колючий иней выбелил углы,
часы внизу отбили пятый час...
О как мне ненавистен с той поры
холодноватый запах камфары!
Со впалых щек сбегает синева,
он говорит невнятные слова,
срывает марлю в спекшейся крови...
Вот так. Еще. Не уступай! Живи!
...Он умер к утру, твой хороший сын,
твоя надежда и твоя любовь...
Зазолотилась под лучом косым
суровая мальчишеская бровь,
и я таким увидела его,
каким он был на Киевском, когда
в последний раз,
печальна и горда,
ты обняла ребенка своего.

.....

В осеннем сквере палевый песок
и ржавый лист на тишине воды...
Все те же Патриаршие пруды,
шестиэтажный дом наискосок,
и снова дети роются в песке...
И, может быть, мы рядом на скамью

с тобой садимся.
Я не узнаю
ни добрых глаз, ни жилки на виске.
Да и тебе, конечно, невдомек,
что это я заплакала над ним,
над одиноким мальчиком твоим,
когда он уходил.
Что одинок
тогда он не был.
Что твоя тоска
мне больше,
чем кому-нибудь, близка...





ПИСЬМО

Хмуρο встретили меня в палате.
Оплывала на столе свеча.
Человек метался на кровати,
что-то иступленное крича.

Я из стиснутой руки солдата
осторожно вынула сама
неприглядный, серый и помятый
листик деревенского письма.

Там, в письме, рукою неумелой
по-печатному писала мать,
что жива, а хата погорела
и вестей от брата не слышать.

Что немало горя повидали,
что невзгодам не было конца,
что жену с ребенком расстреляли,
уходя, у самого крыльца.

Побледневший, тихий и суровый
в голубые мартовские дни
он ушел в своей шинели новой,
затянув скрипучие ремни.

В коридоре хрустнул пол дощатый,
дверь внизу захлопнулась, звеня.
Человек, не знающий пощады,
шел вперед, на линию огня.

Шел он, плечи крепкие сутуля,
нес он ношу — ненависть свою.
Только бы его шальная пуля
не задела где-нибудь в бою...

Только не рванулась бы граната,
бомба не провыла на пути,
потому что ненависть солдату
нужно до Берлина донести!





ОСЕНЬ

Нынче улетели журавли
на заре промозглой и туманной.
Долго, долго затихал вдали
разговор печальный и гортанный.

С коренастых вымокших берез
тусклая стекала позолота;
горизонт был ровен и белес,
словно с неба краски вытер кто-то.

Тихий дождь сочился без конца
из пространства этого пустого...
Мне припомнился рассказ отца
о лесах и топях Августова.

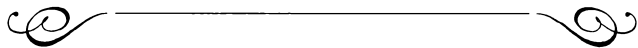
Ничего не слышно о тебе.
Может быть, письмо в пути пропало,
может быть... Но думать о беде —
я на это не имею права.

Нынче улетели журавли...
Очень горько провожать их было.
Снова осень. Три уже прошли...
Я теплее девочку укрыла.

До костей пронизывала дрожь,
в щели окон заползала сырость...
Ты придешь, конечно, ты придешь
в этот дом, где наш ребенок вырос.

И о том, что было на войне,
о своем житье-бытье солдата,
ты расскажешь дочери, как мне
мой отец рассказывал когда-то.





ЯБЛОКИ

Ю. Р.

Ты яблоки привез на самолете
из Самарканда лютою зимой,
холодными, иззябшими в полете
мы принесли их вечером домой.

Нет, не домой. Наш дом был так далеко,
что я в него не верила сама.
А здесь цвела на стеклах синих окон
косматая сибирская зима.

Как на друзей забытых, я глядела
на яблоки, склоняясь над столом,
и трогала упругое их тело,
пронизанное светом и теплом.

И целовала шелковую кожу,
и свежий запах медленно пила.
Их желтизна, казалось мне, похожа
на солнечные зайчики была.

В ту ночь мне снилось: я живу у моря.
Над морем зной. На свете нет войны.
И сад шумит. И шуму сада вторит
ленивое шуршание волны.

Я видела осеннюю прогулку,
сырой асфальт и листья без числа.
Я шла родным московским переулком
и яблоки такие же несла.

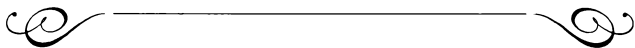
Потом с рассветом ворвались заботы.
В углах синел и колыхался чад...
Топили печь... И в коридоре кто-то
сказал: «По Реомюру — пятьдесят».

Но как порою надо нам немного:
среди разлук, тревоги и невзгод
мне легче сделал трудную дорогу
осколок солнца, заключенный в плод.



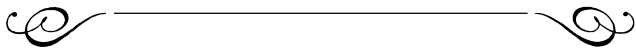


С мужем Ю. Б. Розинским



ДОРОГА

До города двенадцать километров.
Шоссе как вымерло — ни человека...
Иду одна, оглохшая от ветра,
перехожу взлохмаченную реку.
Мы на реке с тобой бывали вместе,
когда-то шли по этой вот дороге...
Как увязают в чавкающем тесте
усталые по непривычке ноги.
Как больно хлещут ледяные плети,
какой пронзительный, угрюмый вечер,
и ни огня на целом божьем свете,
и от мешка оцепенели плечи.
В нем розовая крупная картошка,
пронизанная сыростью осенней.
Приду и стукну в крайнее окошко,
и мать с огарком отопрет мне сени.
Огонь запляшет, загудит в железке,
вода забулькает. А я раскрою дверцу
и сяду возле. И при жарком блеске
письмом вчерашним отопрею сердце.
И долгий путь сквозь мокрое ненастье
осенней ночью — хриплой и бездомной —
мне кажется ничтожно малой частью
одной дороги — общей и огромной.



РАЗГОВОР С МОСКВОЙ

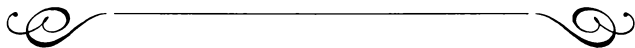
В Москве тревога — это знали все,
и ждали долго, хмуро и упорно.
Врывались ветки в матовой росе
в открытое окно переговорной.
Уже светало. Где-то вдалеке
кричал петух. Людей ко сну клонило.
Телефонистка в вязаном платке
мой номер первым вызвала лениво.
В кабине было душно и темно.
Твой голос вдруг раздался где-то рядом.
Гнездо мое... Не тронута оно,
с его окном, с его осенним садом.
Ты мне сказал: «Сейчас спустился вниз».
Я поняла: ведь я с тобой стояла
всю ночь, пока стучало о карниз
осколками горячего металла.
Но разговор был короток и сух.
Я не сказала ничего, что надо.
И как сумеешь передать на слух
тепло руки, касанье губ и взгляда!..
И все равно, я знала: ты живешь.
Пришел рассвет, умолкнули зенитки.
Одолевая утреннюю дрожь,
ты режешь хлеб и греешь чай на плитке.
А я иду по утренней росе,
за крышами — серебряная Волга,

грузовики грохочут по шоссе,
кричит буксир настойчиво и долго.
И это — жизнь. И мы пройдем по ней.
Наш путь один, и счастье наше — тоже.
В крови, в пыли — и тем еще родней,
в опасности — и тем еще дороже.





С дочерью Наташей



САЛЮТ

Мы час назад не думали о смерти.
Мы только что узнали: он убит.
В измятом, наспех порванном конверте
на стуле извещение лежит.

Мы плакали. Потом молчали обе.
Хлестало в стекла дождиком косым...
По-взрослому нахмутив круглый лобик,
притих ее четырехлетний сын.

Потом стемнело. И внезапно, круто
ракетами врезаясь в вышину,
волна артиллерийского салюта
тяжелую качнула тишину.

Мне показалось, будет очень трудно
сквозь эту боль и слезы видеть ей
цветенье желтых, красных, изумрудных
над городом ликующих огней.

Но только я хотела синей шторой
закрыть огни и море светлых крыш,
мне женщина промолвила с укором:
«Зачем? Пускай любитесь малыш».

И, помолчав, добавила устало,
почти уйдя в густеющую тьму:
«...Мне это все еще дороже стало —
ведь это будто памятник ему».

Какая ночь!

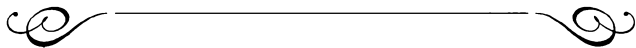
Смотри, какая ночь!

Текут лучи, как будто в небе где-то
победная дорога пролегла.

Тебе ж видны одни потоки света...

Как жалко мне, что ты еще мала!





ПТИЦА

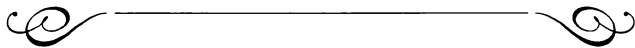
Бои ушли. Завесой плотной
плывут туманы вслед врагам,
и снега чистые полотна
расстелены по берегам.

И слышно: птица птицу кличет,
тревожа утреннюю стынь.
И бесприютен голос птичий
среди обугленных пустынь.

Он бьется, жалобный и тонкий,
о синеву речного льда,
как будто мать зовет ребенка,
потерянного навсегда.

Кружит он в скованном просторе,
звения немыслимой тоской,
как будто человечье горе
осталось плакать над рекой.





* * *

Спокойный вечер пасмурен и мглист.
Не слышно птиц среди древесных кружев.
Пустынна улица. Последний ржавый лист
в морозном воздухе легчайший ветер кружит.

Любимая осенняя пора.
На облаках — сиреневые блики,
на светлых лужицах каемка серебра,
и над землей — покой, безмерный и великий.

Как лживо все: и эта тишина,
и мягкий полог облачных волокон...
Как пристально в глаза людей война
глядит пустыми впадинами окон.





В ЛЕСУ

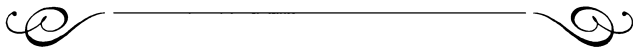
Навстречу сосны. Нет конца им...
День ярче, выше, горячей,
но хвойный кров непроницаем
для ливня солнечных лучей.

Лишь кое-где во мраке вкраплен
как будто золота кусок.
И с веток солнечные капли
сочатся в розовый песок.

В лесу торжественно и тихо...
Но я не слышу тишины, —
еще не умер отзвук дикой,
железной музыки войны.

И с молодой березкой рядом,
ее шуршанием одет,
стоит расщепленный снарядом
сосны обугленный скелет.





ГОРОДОК

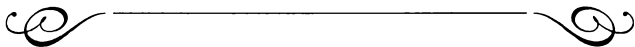
Не прозвучит ни слово, ни гудок
в развалинах, задохшихся от дыма.
Лежит убитый русский городок,
и кажется — ничто непоправимо.

Еще в тревожном зареве закат
и различимы голоса орудий,
а в городок уже приходят люди.
Из горсти пьют, на дне воронки спят.

И снова дым. Но дым уже другой —
теперь он пахнет теплотой и пищей.
И первый сруб, как первый лист тугой,
из черного выходит корневища.

И медленная светлая смола,
как слезы встречи, катится по стенам.
И верят люди: жизнь благословенна,
как бы она сурова ни была!





ДОМОЙ

Сквозь дрему глухую, предутренний сон
я чувствую: поезд идет под уклон.
Прильнула к окну шелестящая муть,
легчайшим изгибом свивается путь.

И в свете февральских расплывчатых звезд
в двенадцать пролетов над Волгою мост.

В мерцанье рассвета уходит река.
Лесами скользит эшелона змея.
На запад, на запад, где дремлет Москва,
где в облаке сизом — родная моя.

Я завтра увижу покинутый дом,
я завтра приду к дорогому крыльцу, —
приду и немного помедлю на нем,
дорожный платок прижимая к лицу.

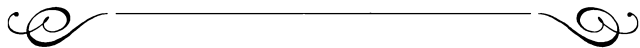
Я вспомню о щелях в садовой тени,
о вое тревог по ночам и о том,
как мы в беспокойные первые дни
полоски на стекла клеили крестом.

И самое горькое вспомнится мне:
взволнованный, людный, вечерний вокзал,
и небо в щемящем закатном огне,
и что мне любимый, целуя, сказал.

Мне этого часа вовек не забыть.
Да разве мы прежде умели любить?

Да разве мы знали, что значит война,
как будет разлука горька и длинна?
...На запад скользит эшелона змея,
все ближе мой город, отчизна моя!





* * *

Вот и город. Первая застава.
Первые трамваи на кругу.
Очень я, наверное, устала,
если улыбнуться не могу.

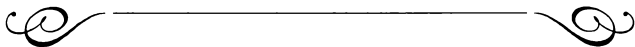
Вот и дом. Но смотрят незнакомо
стены за порогом дорогим.
Если сердце не узнало дома,
значит, сердце сделалось другим.

Значит, в сердце зажилась тревога,
значит, сердце одолела грусть.
Милый город, подожди немного, —
я смеяться снова научусь.





С редактором «Первой книги» поэтом Павлом Антокольским



ДОРОГА НА КЛУХОР

I

Последний предвоенный год.
Уже июль к концу идет.
Становятся студеной зори.
Закаты ранние желты.
Как будто ближе стали взгорья
и четче снежные хребты...
Счастливый отдых на исходе.
Друзьям, сроднившимся в походе,
с горами расставаться жаль,
но план таков:
через Клухори
спуститься вниз, на берег моря,
где зреют сливы и миндаль.
В горах недолго длится лето
и рано стужей дышат льды...

Итак, мы вышли до рассвета
вверх по теченью Теберды.
Тысячелетних скал горбы
от мха иззелена-седы,
и камни масляные лбы
высовывают из воды.
Похожие на веера,
фонтаны брызг шумны, белы...

Литые глыбы серебра
стремятся с гулом изо мглы,
и на волны крутой разбег
взлетает, тельце накренья,
форель — творенье горных рек —
в багряных крапинках огня.
Трава густа, и лес высок,
промяты тропки у воды —
следы босых ребячьих ног,
следы подков, следы сапог,
копыт раздвоенных следы...
Все глуше путь...
За часом час
шагаем мы долиной длинной,
в колючих зарослях малины...
Жара и жажда мучат нас.
Скорее бы в тени прилечь,
рюкзак тяжелый сбросив с плеч!
Беспечный путь на перевал,
студентов шумное веселье...
Как ты мне памятен, привал
у Гоначхирского ущелья!
Скалистый коридор глубок,
на диких кручах пихты виснут,
отвесными стенами стиснут,
на дне беснуется поток,
а наверху при блеске дня
костра чуть видимое пламя,
крик соек, беличьѧ возня,
смех, возгласы...
Не помню я,
когда он вырос перед нами
в своей поношенной панаме
и сел у нашего огня.

Так повелось, что в сердце гор
бывают рады каждой встрече.
— Откуда, друг, идешь?
Далече ль? —
...И завязался разговор.

Широкоплечий, средних лет,
на лбу морщин глубокий след,
блеск проседи в короткой стрижке,
бровей колючие кусты...
Глаза пронзительно чисты,
живые, словно у мальчишки.
Он подружился с нами сразу,
хоть от смущения сперва
мрачнел, когда коверкал фразы
и, обрывая нить рассказа,
с трудом подыскивал слова.
Да, он в России эмигрант.
Бежал от гитлеровских банд.
Ему нельзя попасться в лапы
неумолимых палачей,
он чудом скрылся от гестапо
во мраке мюнхенских ночей...
Он ничего не станет в тайне
держат от нас — своих друзей.
Он по призванию ботаник
и по профессии своей.
Специалист альпийской флоры,
он превосходно знает горы,
признаться откровенно, он
в Кавказ, как юноша, влюблен!
Конечно, крест его тяжел —
в изгнание жить в такие годы.
Но он у русского народа
вторую родину нашел.

Какой народ! Он поражен,
глазам поверить трудно даже,
что есть страна, в которой каждый
такой заботой окружен.
Да вот на днях...
почти до слез
он был растроган... довелось
ему увидеть за оградой
кроваток белые ряды...
Вдыхая воздух Теберды,
в них малыши больные спали.
Он узнавал — ему сказали,
что это дети горняков,
учителей, ткачей, матросов...
Он вспомнил чопорность Давоса
среди швейцарских ледников,
баронов и биржевиков,
глядящих друг на друга косо...
Закон советский не таков, —
благословен закон страны,
где все свободны и равны!
Он простирали картинно руку,
взор устремляя в облака.
(Сказать по правде, нам слегка
излишний пафос резал ухо.)
Но все ему прощали мы:
он из гестаповской тюрьмы!
Неделю шел он с нами рядом —
всем угождавший человек
с немного напряженным взглядом
из-под нависших темных век.
Перед изгнанником-ученым
мы хвастались наперебой
удобным для подъема склоном

и вновь отысканной тропой.
Ему указывали, споря,
наикратчайший к морю путь
и предлагали возле моря
в палатке нашей отдохнуть...

Уже огни в воде дрожали,
Сухуми искрился вдали,
когда в пути нас задержали
береговые патрули.

Метнулись над седою стрижкой
вмиг полинявшие глаза.
Солдат сказал сквозь зубы:
— Крышка!
Попалась старая лиса!

.....

Когда его под стражу взяли,
мы не могли в себя прийти.
Мы в сотый раз припоминали
все происшедшее в пути.
Друг друга горько попрекая,
мы выясняли в сотый раз,
кто усадил, кто налил чаю,
кто плакал, слушая рассказ...

Сидеть, глазеть, разинув рот!
Но ротозейству в извиненье
мы все сошлись в наивном мненье:
мол, горы — это не завод!

Он ворошил вихры ребенку,
он с нами в кошах пил айран¹,
кричал он девушке вдогонку:

¹ Кислое молоко.

— Поймаю, козочка, джейран! —
Он был услужливейшим другом,
неутомимым ходоком,
он, проходя альпийским лугом,
бежал за редкостным цветком.
Кладя под лупу лепесточки,
он тут же отмечал на глаз
опознавательные точки
высокогорных новых трасс.
Платó в кольце крутых отвесов
под сочным травяным ковром
определял он кратко:
«Место
пригодно под аэродром».
Он даже недоступный купол,
небес светящийся эфир,
глазами тщательно ощупал
и на квадраты разграфил.
И пусть неистребимой тенью
на нашей жизни ляжет та,
граничащая с преступленьем,
доверчивая простота,
с которой мы тогда встречали
на нашем празднике его,
с которой мы ему вручали
ключи от дома своего!

Четыре лета, пыльных, знойных,
 четыре долгие зимы
 идет война.
 Что значат войны,
 теперь отлично знаем мы.
 Война... не счесть ее обличий,
 и для меня была она
 тяжелой тишиной больничной,
 ночами длинными без сна...
 Морозный запах хлороформа,
 постукивание костылей,
 жизнь по военным жестким нормам
 во всей обычности своей.

Кушетка с черной продранной клеенкой,
 история болезни, телефон...
 Часа в четыре ночи трелью звонкой
 нетерпеливо разразился он.
 Снимаю трубку.
 Голос в отдаленье,
 коротким треском приглушенный звук:
 — Дежурную второго отделения!
 — Я слушаю, товарищ политрук.
 — Освободите пятую палату,
 распорядитесь подогреть воды.
 Поедете на Курский,
 там ребята,
 больные малыши из Теберды.

Не хвойный шум, не ветры перевала,
 не грозный блеск зеленой толщи льда —
 столбцы газет теперь я вспоминала
 при этом мирном слове «Теберда».

Мне чудилось, как, увязая в глине,
фашисты топчут склоны наших гор...
Той прежней тропки нету и в помине.
Тропа войны — дорога на Клухор.
На карте стратегическая точка...
И вот однажды вестницей беды
среди коротких сообщений строчка:
«Десант врага в районе Теберды».

Мне вспомнилось
плато в кольце отвесов,
в сплошных цветах высокогорный луг...
«Враги успели скрыться в чащу леса».
А лес стоит на сотню верст вокруг!

.....
В палате синий слабенький ночник.
Уже, наверно, далеко за полночь.
Никто из них не звал меня на помощь,
но я не в силах отойти от них.
Как неподвижны голубые лица,
измождены, по-старчески худы!..
Как хорошо им, как спокойно спится
усталым малышам из Теберды!
Они живут здесь в ласке и заботе,
но нужен им другой, домашний быт...
На крайней койке девочка не спит:
«Не уходите, посидите, тетя!»

Ребенок в гипсовой кровати,
чуть шевеля запавшим ртом,
мне говорит спокойно, кратко,
но обстоятельно о том,
как их, детей, согласно списку,
в последний отправляли рейс
те, из дивизии альпийской
с названьем странным «Эдельвейс»...

Я видела:
на плоскогорье, лицом на речку Теберду,
знакомый детский санаторий —
пять белых домиков в саду.
Все те же острые вершины
и снега вечная черта...
Гудит закрытая машина,
протискиваясь в воротá...
Она уйдет со страшным грузом,
она придет за ним опять...
— Что? Дети?..

— Ни к чему, обуза!..

— Больны к тому же?..

— Истреблять!

Да, истреблять.
Подлее слова
не выдумать, когда оно
к ребенку, теплому, живому,
так, походя, по-деловому,
убийцами отнесено.

.....

Вблизи моста, где стынет мгла,
где даже в зной темно и сыро,
швырнули детские тела
на дно ущелья Гоначхира.
От острых глыб, от голых скал
до желтых вод Кубани мутной
их мчал неудержимо вал,
прочь унести спеша как будто.
И дальше их несла вода,
туда, где степи к морю жались,
в долины дымные, туда,
где насмерть их отцы сражались...

Машина ушла, но вернуться должна
за теми, кого не вместила она.

А в темной палате шел ночью совет:

— Дойдут ли?

— Попробуем, выхода нет.

— Погибнут они, не осияют пути!

— А здесь?

— Что бы ни было, надо идти.

— Теплее одеть, захватить адреса... —

На сборы осталось им четверть часа.

Шелестела ледяная каша,
дождь, хлеща, долины заливал.
Старый врач и санитарка Паша
повели детей на перевал
по опасным осыпям и пенным,
шумным речкам, через Чертов мост,
по горбатым медленным моренам —
черным глыбам в человеческий рост...
В летний день на той крутой дороге
лишь в бреду предстать могло бы нам:
детские израненные ноги
здесь скользят по мокрым валунам.
Холод, ветер...

По ущельям гулким
рев осенних, вздутых ливнем рек...
То и дело жалкие фигурки
падают, проваливаясь в снег.
Мишеньки, Аленушки, Наташи,
сросшиеся с сердцем имена...
Дети наши, маленькие наши,
вот что с ними сделала война!
Как прихода их когда-то ждали,
кукольные тапочки вязали,
покупали мягкую фланель...

За́долго подыскивали имя
и не спали по ночам над ними,
на родную глядя колыбель!
От простуды берегли и кори
или — страшно вымолвить! — огня.

.....

В ледяной шуршащей мокрой каше
по́ пояс шагают дети наши...
Матери, вы слышите меня?
Впереди, светясь сияньем млечным,
грозным валом наплывают льды...
В плотный снег впечатаны навечно
детские неверные следы.
У меня они перед глазами...
Тяжело на сердце у меня:
человек в потрепанной панаме
отдыхал у нашего огня.
Дружбе нашей был сердечно рад он,
собирал цветы и между дел
первоклассным фотоаппаратом
этот страшный путь запечатлел.
Пусть он пойман был еще в ту пору,
пусть расстрелян...
Суть совсем не в нем.
Если я хоть раз впустила вора,
значит, плохо берегла свой дом.
Сколько их, непойманных, бродило
днем и ночью по моей стране...
Как же мне на ум не приходило,
что, возможно, встретятся и мне?
Отчего жила я без заботы,
зла не видя, счастья не храня,
отчего я думала, что кто-то
должен делать это за меня?

...Русый ежик, мягкий и упрямый,
век бескровных бледные края...
— Как тебя укладывала мама?
Расскажи мне... доченька моя...
Ты ведь помнишь маму?
На вокзале
поезд ждал отправки, пар клубя...
Грустными, блестящими глазами
мама посмотрела на тебя.
Ей казалось — все непоправимо:
восемь лет, туберкулез бедра...
«Ничего, — сказали доктора. —
Теберда, а может, берег Крыма...
Не волнуйтесь: это все пройдет!»
Начинался сорок первый год.
Все пройдет!
Пуškai тебе приснится
разное забавное зверье,
пусть к постельке прилетит жар-птица —
детство улетевшее твое.
И, хотя бы нам пришлось за тыщи
верст идти и днем искать с огнем,
ты не бойся — мы его отыщем
и опять тебе его вернем!

III

Когда-нибудь возьму я дочь —
она совсем большая стала, —
и нас в пути застигнет ночь
невдалеке от перевала.
Два настороженных коня
пойдут бок о бок, близко-близко,
слегка подковами звеня,
из камня высекая искры...
Вверху звезда зажжет свечу,
дрожа, дохнет ночная свежесть,
и ель мохнатая, разнежась,
меня погладит по плечу.
Я наклонюсь и отыщу
родную маленькую руку,
прислушаюсь к глухому стуку
камней на недоступном дне
ущелья...
И предстанет мне:
вблизи мостá, где стынет мгла,
где даже в зной темно и сыро,
швырнули детские тела
на дно ущелья Гоначхира...

Былого сгладятся черты,
и горе станет меньше ранить...
Как мало сберегаешь ты,
короткая людская память!
Людское сердце, не остынь,
не позабудь свой день вчерашний:
ведь эти села, эти пашни —
на месте выжженных пустынь!
Хлебами прах людской пророс,
цветами кровь людская стала,

на эту землю море слез
дождями теплыми упало.
Людское сердце, не дремли!
Своей взыскательностью строгой,
своей недремлющей тревогой
храни покой родной земли.
Какие вновь там зреют планы?
Какой готовится набег?
Для дел каких за океаном
стомиллионный выдан чек?
И вот в стране моей богатой
под кровом мирной тишины
наемный бродит соглядатай,
лазутчик лагеря войны...
Он заговаривает с нами,
в улыбке лживой скаля рот,
как тот, в потрепанной панаме,
в далекий, предвоенный год...

Он по дорогам нашим рыщет,
он ищет спутников в пути,
бездумных, легковых ищет,
но он не должен их найти!
За недоверье и пристрастье
пусть не осудят нас друзья:
ведь мы стоим на страже счастья,
нам глаз на миг сомкнуть нельзя.

Над узкой трещиной ущелья,
во мгле, лохматы и черны,
свисают траурные ели,
как память черная войны.
И слышен в сумраке беззвездном
мне неумолчный голос их:
— О тех, о мертвых, плакать поздно,
мир берегите для живых!

Наутро небо прояснится,
сползет туман с зубчатых круч,
и рассветет, и сквозь ресницы
в глаза ударит первый луч...
Девчонка, худенький подросток,
по льдам ступая в первый раз,
ты скажешь радостно и просто:
«Так, значит, вот какой Кавказ!»

Полет орлов и рек рождение
там, наверху, увидишь ты.
Прекрасно счастье восхождения,
преодоление высоты!
Но в утро счастья, в утро мира,
мне память затуманит взор:
через ущелье Гоначхира
лежит дорога на Клухор.
Я не хочу твоей печали,
но что же делать: я права;
все расскажу я, не смягчая
рассказа трудные слова.
Блеснут ребяческие слезы
в глазах внимательных твоих...
Не плачь!
Не надо!
Плакать поздно.
Бороться надо за живых!

1952

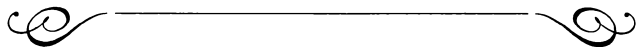




А знаешъ,
все еще будет...



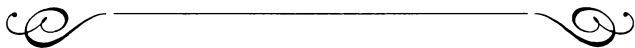




Издалека... я... вижу, как нежная смуглость лица усугубляется непоправимой тенью. Но я вольна смотреть дальше... видеть глаза, улыбку, чье... выражение соединяет сосредоточенность и отстраненность, лучезарную доброту... и неуловимую рассеянность. Так смотрят и улыбаются люди, осененные любовью, и некоторые из них имеют высокую власть и отвагу слагать об этом стихи...

Белла Ахмадулина





* * *

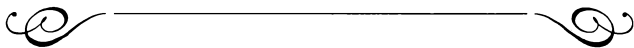
Людские души — души разные,
не перечислить их, не счесть.
Есть злые, добрые и праздные
и грозовые души есть.

Иная в силе не нуждается,
ее дыханием коснись —
и в ней чистейший звук рождается,
распространяясь вдаль и ввысь.

Другая хмуро-неотзывчива,
другая каменно-глуха
для света звезд,
для пенья птичьего,
для музыки
и для стиха.

Она почти недосыгаема,
пока не вторгнутся в нее
любви тревога и отчаянье,
сердечной боли острие.

Смятенная и беззащитная,
она очнется,
и тогда
сама по-птичьи закричит она
и засияет как звезда.



* * *

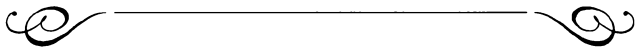
Мы шли пустынной улицей вдвоем
в рассветный час, распутицу кляня.
И, как всегда, под самым фонарем
ты вдруг решил поцеловать меня.

А нам с тобой навстречу в этот миг
веселые студенты, как на грех...
Мы очень, видно, рассмешили их —
так дружно грянул нам вдогонку смех.

Их разговор примерно был таков:
— Видали вы подобных чудаков?
— И впрямь чудаки, ведь он не молод... — Да,
но и она совсем не молода!

Ты сердишься за дерзкие слова?
Но что же делать — молодежь права.
Попробуй на меня когда-нибудь
пристрастным взглядом юности взглянуть.

Давай простим их неуместный смех:
ну где ж им знать, что мы счастливей всех?
Ведь им прожить придется столько лет,
пока поймут, что старости-то нет!



У ИСТОЧНИКА

Тягучий жар на землю льется,
томят извилины пути...

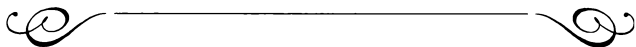
К артезианскому колодцу
бежит ребенок лет шести.

На цыпочки на камне белом
приподымаясь на краю,
губами ловит неумело
тугую, круглую струю.

Она дугой взлетает звонко,
спеша в орешник молодой,
и пересохший рот ребенка
едва целуется с водой.

И у меня судьба такая,
и я к источнику бегу.
Мне счастье бьет в лицо, сверкая,
а я напиться не могу!



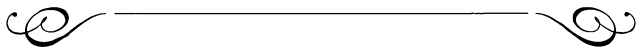


ЗЕРКАЛО

Все приняло в оправе круглой
нелицемерное стекло:
ресницы, слепленные व्यюгой,
волос намокшее крыло,
прозрачное свечение кожи,
лица изменчивый овал,
глаза счастливые... все то же,
что только что
ты целовал.

И с жадностью неутолимой,
признательности не тая,
любуюсь я твоей любимой...
И странно мне,
что это... я.





НЕПОГОДА

Нас дождь поливал
трое суток.
Три дня штурмовала гроза.
От молний ежеминутных
ломить начинало глаза.
Пока продолжалась осада,
мы съели пуды алычи.
За нами вдогонку из сада,
как змеи, вползали ручьи.
А тучи шли тихо, вразвалку,
и не было тучам конца...
Промокшая, злая чекалка
визжала всю ночь у крыльца.
Опавшие листья сметая,
кружились потоки, ворча,
лимонная и золотая
купалась в дожде алыча.
И, превознося непогоду,
от зноя живая едва,
глотала небесную воду
привычная к жажде трава.
Вот так мы и жили без дела
на мокрой, веселой земле,
а море свирепо гудело
и белым дымилось во мгле.

Домишко стоял у обрыва,
где грохот наката лютей,
и жило в нем двое счастливых
и двое несчастных
людей.

Ты мне в бесконечные ночи
с улыбкою (благо темно!)
твердил, что, конечно, на почте
лежит телеграмма давно.

Что письма затеряны, видно,
твердил, почтальонов вина.
И было мне горько и стыдно,
что ты утешаешь меня.

И я понимала отлично,
что четко работает связь,
что письма вручаются лично,
открытки не могут пропасть...

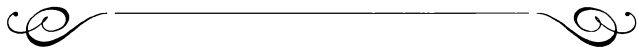
Однажды, дождавшись рассвета,
с последней надеждой скупой
ушла я месить километры
лиловой размякшей тропой.
Ушла я вдогонку за счастьем,
за дальней, неверной судьбой...
А счастье то было ненастьем,
тревогой,

прибоем,
тобой.



Но даже теперь, на таком расстоянье,
случается вдруг, и тебя и меня
в летящих ночах настигает сиянье
того, голубого, приморского дня.

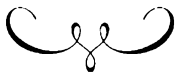


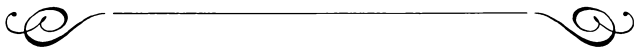


* * *

Молодость... Старость...
Привычно, знакомо.
А я бы делила жизнь
по-другому:
я на две бы части ее делила,
на то, что будет,
и то, что было.
Ведь жизнь измеряют —
знаете сами —
когда годами,
когда часами.
Знаете сами —
лет пять или десять
минуте случается перевесить.
Я не вздыхаю:
о, где ты, юность!
Не восклицаю:
ах, скоро старость!
Я жизни вопрос задаю, волнуясь:
что у тебя для меня осталось?
Припоминаю я все, что было,
жизнь пересматриваю сначала,
как беспощадно меня учила,
какие подарки порой вручала.
Знала я счастье,
не знала покоя,

знала страдания,
не знала скуки.
С детства открылось мне,
что такое
непоправимость вечной разлуки.
Руки мои красивыми были,
нежными были,
сильными стали.
Настежь я сердце свое раскрыла
людскому счастью,
людской печали.
Я улыбалась и плакала с ними,
стала мудрее
и непримиримей,
мягче я стала,
тверже я стала,
лгать и завидовать
перестала.
Молодость — сила.
Старость — усталость.
Думаю —
сила
в запасе
осталась!



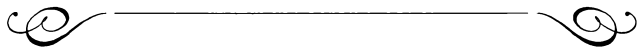


* * *

Не отрекаются любя.
Ведь жизнь кончается не завтра.
Я перестану ждать тебя,
а ты придешь совсем внезапно.
А ты придешь, когда темно,
когда в стекло ударит вьюга,
когда припомнишь, как давно
не согревали мы друг друга.
И так захочешь теплоты,
не полюбившейся когда-то,
что переждать не сможешь ты
трех человек у автомата.
И будет, как назло, ползти
трамвай, метро, не знаю что там.
И вьюга заметет пути
на дальних подступах к воротам.
А в доме будет грусть и тишь,
хрип счетчика и шорох книжки,
когда ты в двери постучишь,
взбежав наверх без передышки.
За это можно все отдать,
и до того я в это верю.
что трудно мне тебя не ждать,
весь день не отходя от двери.



М. Львов, В. Тушнова, М. Соболев



ВЕСНА

Туч взъерошенные перья.
Плотный воздух сыр и сер.
Снег, истыканный капелью,
по обочинам осел.

И упорный ветер с юга,
на реке дробящий льды,
входит медленно и туго
в прочерневшие сады.

Он охрипшей грудью дышит,
он проходит напролом,
по гремющей жестью крыше
тяжко хлопает крылом.

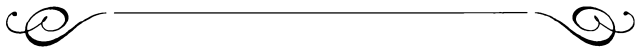
И кипит волна крутая
с каждой ночью тяжелей,
сок тягучий нагнетая
в сердцевины тополей.

Третьи сутки дует ветер,
третьи сутки стонут льды,
третьи сутки в целом свете
ни просвета, ни звезды.

Краю нет тоске несносной.
Третьи сутки в сердце мрак...
Может быть, и в жизни весны
наступают тоже так?



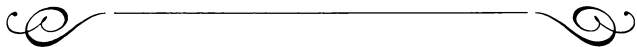
Рисунок Вероники Тушновой



* * *

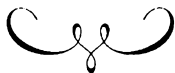
Вот это и есть настоящее, да?
Вот эта тоска, темнота и вода,
бегущая с крыш по ста желобам,
спросонок бормочущая в канавах,
где скорчившись спят нерожденные травы,
где хлюпает глина со льдом пополам.
Весна по проселкам и городам
проходит, тяжелые слезы роняя...
Тоска, подступающая к губам,
тебя никому, ни за что не отдам,
на самое светлое не променяю.
Лежи до поры нерастаявшим льдом.
Я помню,
я знаю,
что будет потом!

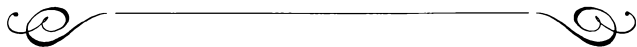




* * *

И чего мы тревожимся, плачем и спорим,
о любимых грустим до того, что невмочь.
Большеглазые добрые звезды над морем,
шелковистая гладь упирается в ночь.
Спят прогретые за день сутулые скалы,
спит распластанный берег, безлюден и тих.
Если ты тишины и покоя искала,
вот они! Только нет, ты искала не их.
Спят деревья, мои бессловесные братья.
Их зеленые руки нежны и легки.
До чего мне сейчас не хватает пожатья
человеческой, сильной, горячей руки!





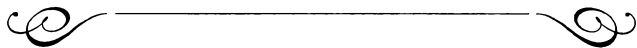
* * *

У мокрых камней выгибает волна
литую покатую спину.
Над черным хребтом Карадага
луна
истаяла наполовину.
Срываются звезды
с десятков орбит,
их росчерк мгновенен и светел.
Тревогу,
тревогу,
тревогу трубит
в ущельях полуночный ветер.
Пока фосфорящийся след не потух,
желанье
шепчу я поспешно.
Одно неизменное.
Места для двух
не стало в душе моей грешной.
К осеннему небу
прикован мой взгляд,
авось я судьбу переспорю!
...А звезды летят,
и летят,
и летят,
и падают в Черное море.



* * *

Твои глаза... Опять... Опять...
Мне сердца стук
мешает спать.
Не знаю — явь то или бред,
не знаю — был ты или нет,
не вспомнить мне
и не понять!
Твои глаза... Опять... Опять...
Волос невысохшая прядь,
соленая прохлада рук,
беззвучный ливень звезд...
Ты помнишь, как скатилась вдруг
одна из них
на пыльный мост?
Ты помнишь?
Ты не позабыл
вчерашней встречи
краткий час?
Теперь я знаю — это был
подарок свадебный для нас!
Ах, все ли ты сумел понять?
Твои глаза... Опять... Опять...
Дыханье обрывается...
Поднять не в силах век...
Так счастье начинается
последнее
навек!



* * *

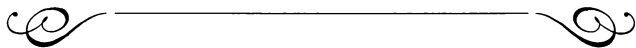
На рассветной поре
туча спит на горе,
залегла за хребтом
ватным серым жгутом.

На рассветной поре
ветер спит на горе,
дремлет, крылья сложа,
сном своим дорожа.

Я люблю эту гладь,
я люблю эту тишь,
дыма первую прядь
над уступами крыш,
первый блеск на волне,
первый плеск в тишине...

Буря сердца
слышнее в молчании мне!





* * *

Очертаниями туманными
горы высятся над заливом...
Любовался ли ты бакланами
утром солнечным и счастливым?

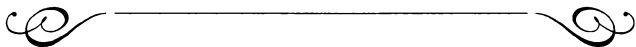
Расправляют крылья ленивые,
выгибают шейки змеиные...
С очень долгими перерывами
с весел капают капли длинные.

То вытягивается, то сжимается
на волне овальное солнце,
а на сваях сидят, жеманятся
темнокрылые незнакомцы.

Мне от них уплывать не хочется,
всплеском весел вспугнуть не хочется,
мне ничем нарушать не хочется
сердца светлое одиночество.

Но бакланам сидеть наскучило.
Тяжело поднялись и скрылись.
Завизжали в гнездах уключины,
волны о борт заколотились.

На стеклянное, на зеленое
рябь наброшена, словно кружевце...
А внизу — глубина бездонная,
а сверху — синева бездонная,
поглядишь — голова закружится!



* * *

Я поднимаюсь по колючим склонам,
и мну в ладонях пыльный полынок,
пылает бухта синим и зеленым,
кузнечики взлетают из-под ног.

В скользящих бликах света голубого,
на обожженном темени горы,
лепечут листья в рощице дубовой,
жужжат шмели и плачут комары.

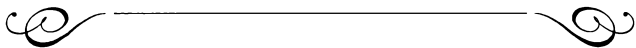
Лежу. Гляжу.
Над головою дна нет!
Плывут на север тучи не спеша...
И все мне душу трогает и ранит,
так беззащитна сделалась душа.

Она ликует и пощады просит,
и нет ее смятению конца.
Так, вероятно, света не выносят
глаза у исцеленного слепца.

Всё в первый раз — долины, горы, море,
сухой дубняк, звенящий на ветру...
Вторая жизнь! На радость или горе?
Не все равно ли?
Не боюсь. Беру!



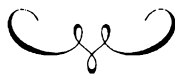
На I Всесоюзном совещании молодых писателей. Москва, 1947 г.
Первый ряд: И. Нонешвили, П. Г. Антокольский, В. Тушнова,
Р. Маргиани, М. Луконин. Второй ряд: А. Недогонов,
М. Максимов, С. Гудзенко, В. Захарченко, В. Урин

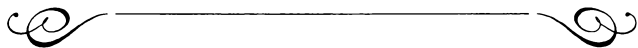


В ЛЕСУ

Осенний пожар полыхает в лесу,
плывут паутин волоконца,
тяжелые капли дрожат на весу,
и в каждой по целому солнцу.
Какой нерушимый сегодня покой,
как тихо планируют листья...
Хочу вороха их потрогать рукой,
как шкурку потрогала б лисью.
Как много их — рыжих, лиловых почти,
коричневых и золотистых.
Слетают на плечи, лежат на пути,
трепещут на кронах сквозистых.
Торжественной бронзой покрыты дубы,
горят фонари-мухоморы...
Я нынче с рассвета пошла по грибы,
бродить по глухим косогорам.
Брожу —
и нет-нет
да присяду на ствол,
к осенней прислушаюсь речи.
Почудилось — кто-то по лесу прошел.
Не ты ли прошел недалече?
Брожу —
и нет-нет
да тебя позову,

молчанье лесное развею.
Мне эхо ответит, лукавая: ау...
А я вот возьму и поверю!



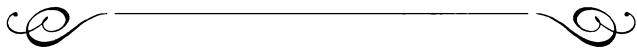


* * *

Вчерашний дождь
последний лист багряный
сорвал с деревьев, рощи оголя.
Я вышла через заросли бурьяна
в осенние пустынные поля.
Все шло своим положенным порядком,
заранее известным для меня:
ботва чернела по разрытым грядкам,
рыжела мокрой щеткою стерня,
блестели позолоченные утром
весенне-свежей озими ростки...
Их ветер трогал с нежностью,
как будто
на голове ребенка волоски.
А журавли,
печальные немного,
на языке гортанном говоря,
летели синей ветреной дорогой
в далекий край,
на теплые моря...
Ну, вот и все!
И нету больше лета,
когда друг друга отыскиали мы.
Но мне впервые не страшны приметы
недалней неминуемой зимы.
Зимы, грозящей и садам и людям...

Ну, что она отнимет у меня?
Ведь мы с тобою
вместе греться будем
у зимнего веселого огня!





О СЧАСТЬЕ

Ты когда-нибудь плыл по широкой воде,
обнимающей плотно и бережно тело,
и чтоб чайка в то время над морем летела,
чтобы облако таяло в высоте?

Ты когда-нибудь в зной
добредал до ключа,
что коряги и камни
обегают журча,
что висящие корни толкает и лижет
и на мох

серебристые шарики ниже?

Ты ложился и пил этот холод вздохом,
обжигая им пыльные щеки и лоб?

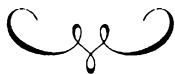
Ты когда-нибудь после
очень долгой разлуки
согревал свое сердце
о милые руки?

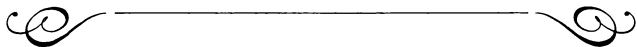
Ты когда-нибудь слышал,
в полутьме, в полусне,
дребезжащий по крышам
первый дождь по весне?

И ребячья ручонка тебя обнимала?
И удача большая в работе бывала?

Если так, я почти согласиться готова —
счастлив ты...

Но ответь на последний вопрос:
ты когда-нибудь
сделал счастливым другого?
Ты молчишь?
Так прости мне жестокое слово —
счастья в жизни
узнать тебе не привелось!



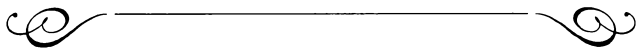


НОЧЬ В ГОРАХ

Мы ступаем по блеску лунному,
я и спутник случайный мой.
Ночь холодная,
ночь бездумная
в лунном инее, как зимой.
Тускло теплятся
горы снежные,
невесомые под луной...
Небо прежнее.
Звезды прежние.
Крылья прежние за спиной!
Два моих молодых крыла...
Как забыть я о них могла?
Через скалы,
ручьев промоины,
речки скомканную парчу
«Все доступно,
и все дозволено!» —
пожелаю
и полечу!
Под ногами — трава несмятая
в ледяной голубой росе.
А душа-то —
у всех крылатая.
Только знают про то
не все.



В Коктебеле



* * *

Воздух пьяный — нет спасения,
с ног сбивают два глотка.
Облака уже весенние,
кучевые облака.
Влажный лес синеет щеткою,
склон топорщится ольхой.
Все проявленное, четкое,
до всего подать рукой.
В колеях с навозной жижею,
кувыркаясь и смеясь,
до заката солнце рыжее
месит мартовскую грязь.
Сколько счастья наобещано
сумасшедшим этим днем!
Но идет поодаль женщина
в полушалочке своем,
не девчонка и не старая,
плотно сжав румяный рот,
равнодушная, усталая,
несчастливая идет.
Март, январь, какая разница,
коль случилось, что она
на земное это празднество
никем не позвана.
Ну пускай, пускай он явится
здесь, немедленно, сейчас,

скажет ей:
«Моя красавица!»,
обоймет, как в первый раз.
Ахнет сердце, заколотится,
боль отхлынет, как вода.
Неужели не воротится?
Неужели никогда?
Я боюсь взглянуть в лицо ее,
отстаю на три шага,
и холодная, свинцовая
тень ложится на снега.

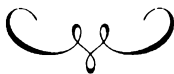




В АЭРОПОРТУ

В холодном, неуютном зале
в пустынном аэропорту
слежу тяжелыми глазами,
как снег танцует на ветру.
Как, на стекло лепя заплатки,
швыряет пригоршни пера,
как на посадочной площадке
раскидывает веера.
На положении беглянки
я изнываю здесь с утра.
Сперва в медпункте валерьянки
мне щедро выдала сестра.
Затем в безлюдном ресторане,
серьгами бедными блеща,
официантка принесла мне
тарелку жирного борща.
Из парикмахерской вразвалку
прошел молоденький пилот...
Ему меня ничуть не жалко,
но это он меня спасет.
В часы обыденной работы,
февральский выполняя план,
меня на крыльях пронесет он
сквозь мертвый белый океан.
Друзья мои, чужие люди,
благодарю за доброту...

Сейчас вздохну я полной грудью
и вновь свободу обрету.
Как хорошо, что все известно,
что ждать не надобно вестей.
Благословляю век прогресса
и сверхвысоких скоростей.
Людской благословляю разум,
плоды великого труда
за то, что можно
так вот, разом,
без слов, без взгляда,
навсегда!



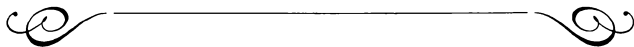


* * *

Так было, так будет
в любом испытанье:
кончаются силы,
в глазах потемнело,
уже исступленье,
смятенье,
метанье,
свинцовою тяжестью
смятое тело.
Уже задыхается сердце слепое,
колотится бешено и бестолково
и вырваться хочет
ценою любой,
и нету опасней
мгновенья такого.
Бороться так трудно,
а сдаться так просто,
упасть и молчать,
без движения лежать...
Они ж не бездонны —
запасы упорства...
Но дальше-то,
дальше-то,
дальше-то что же?
Как долго мои испытания длятся,
уже непосильно бремя это...

Но если мне сдаться,
так с жизнью расстаться,
и рада бы выбрать,
да выбора нету!
Считаю не на километры — на метры,
считаю уже не на дни — на минуты...
И вдруг полегчало!
Сперва неприметно.
Но сразу в глазах посветлело
как будто!
Уже не похожее на трепыханье
упругое чувствую
сердцебиенье...
И, значит, спасенье —
второе дыханье.
Второе дыханье.
Второе рожденье!





* * *

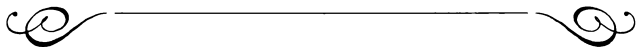
Всегда так было
и всегда так будет:
ты забываешь обо мне порой,
твой скучный взгляд
порой мне сердце студит...
Но у тебя ведь нет такой второй!
Несвойственна любви красноречивость,
боюсь я слов красивых как огня.
Я от тебя молчанью научилась,
и ты к терпению
приучил меня.
Нет, не к тому, что родственно бессилью,
что вызвано покорностью судьбе,
нет, не к тому, что сломанные крылья
даруют в утешение тебе.
Ты научил меня терпению поля,
когда земля суха и горяча,
терпению трав, томящихся в неволе
до первого весеннего луча,
ты научил меня терпению птицы,
готовящейся в дальний перелет,
терпению всех, кто знает,
что случится,
и молча неминуемого ждет.



* * *

Счастли́во и необъяснимо
происходящее со мной:
не радость, нет — я не любима —
и не весна тому виной.
Мир непригляден, бесприютен,
побеги спят,
и корни спят,
а я не сплю,
и день мой труден,
и взгляд мне горести слепят...
Я говорю с тобой стихами,
остановиться не могу.
Они как слезы, как дыханье,
и, значит, я ни в чем не лгу...
Все, что стихами, — только правда,
стихи как ветер, как прибой,
стихи — высокая награда
за все, что отнято тобой!





САМОЛЕТЫ

Запах леса и болота,
полночь, ветер ледяной...
Самолеты, самолеты
пролетают надо мной.

Пролетают рейсом поздним,
рассекают звездный плес,
пригибают ревом грозным
ветки тоненьких берез.

Полустанок в черном поле,
глаз совиный фонаря...
Сердце бродит, как слепое,
в поле без поводыря.

Обступает темень плотно,
смутно блещет путь стальной...
Самолеты, самолеты
пролетают надо мной.

Я устала и продрогла,
но ведь будет, все равно
будет дальняя дорога,
будет все, что суждено.

Будет биться в ровном гуле
в стекла звездная река,
и дремать спокойно будет
на моей твоя рука...

Можно ль сердцу без полета?
Я ли этому виной?
Самолеты, самолеты
пролетают надо мной.



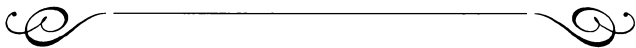


* * *

Как счастье внезапное — оттепель эта.
Весны дуновеньем земля обогрета.
Еще не начало весны, а предвестье,
и даже еще не предвестье — намек,
что будет,
что рядом,
что срок недалек.
Нет, эти приметы меня не обманут:
совсем по-особому
грустно до слез,
как самый последний оставшийся мамонт,
трубит в одиночестве
электровоз.
Промчался гудок
и за далями сгинул,
и стихло в ночи тарахтенье колес,
и город
молчанье, как шапку, надвинул,
и явственно стало дыханье берез.
Они, возле окон на цыпочках стоя,
глядят любопытно...
Я чувствую их.
Я слышу, как бьется их сердце простое,
как соки пульсируют в почках тугих.
Вот с крыши сосулька обрушилась вниз,
ударилась вдребезги о карниз,

хрустальная дробь раскатилась по жести —
и снова сторожкая долгая тишь...
Я знаю, я знаю: ты тоже не спишь,
ты слушаешь тоже,
мы слушаем вместе.
Как оттепель — близость внезапная эта.
Дыханием счастья душа обогрета.
Еще не начало, а только предвестье,
и даже еще не предвестье — намек,
что будет,
что рядом,
что срок недалек.





* * *

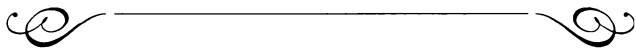
Морозный лес.
В парадном одеянье
деревья-мумии, деревья-изваянья...
Я восхищаюсь этой красотой,
глаз не свожу,
а сердцем не приемлю.
Люблю землю пахнущую землю
и под ногой
листвы упругий слой.
Люблю кипенье, вздохи, шелест, шорох,
величественный гул над головой,
брусничники на рыжих косогорах,
кочкарники с каемчатой травой...
Труд муравьев, и птичьи новоселья,
и любопытных белок беготню...
Внезапной грусти,
шумного веселья
чередованье
по сто раз на дню.
Люблю я все, что плещется, струится,
рождается, меняется, растет,
и старится,
и смерти не боится...
Не выношу безжизненных красот!

Когда январским лесом прохожу я
и он молчит,
в стоцветных блестках сплошь,
одно я повторяю, торжествуя:
«А все-таки ты скоро оживешь!»



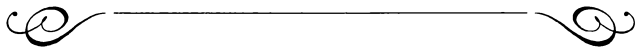


Крым, 50-е годы



* * *

За водой мерцает серебристо
поле в редком и сухом снегу.
Спит, чернея, маленькая пристань,
ни живой души на берегу.
Пересвистываясь с ветром шалым,
гнется, гнется мерзлая куга...
Белым занимается пожаром
первая осенняя пурга.
Засыпает снег луга и нивы,
мелкий, как толченая слюда.
По каналу движется лениво
плотная, тяжелая вода...
Снег летит спокойный, гуще, чаще,
он летит уже из крупных сит,
он уже пушистый, настоящий,
он уже не падает — висит...
Вдоль столбов высоковольтной сети
я иду, одета в белый мех,
самая любимая на свете,
самая красивая на свете,
самая счастливая из всех!



ШИШКА

Я в снегу подтаявшем,
около ствола,
гладенькую, мокрую
шишку подняла.
А теперь в кармане
я ее ношу,
выну, полюбуюсь,
лесом подышу.
Выну и порадуюсь,
что тогда, в лесу,
может быть, последнюю,
может, предпоследнюю,
а может быть, просто
встретила весну.
Там в снегу лосиные
глубокие следы,
как ведерки синие,
полные воды,
свежие проталины,
муравьи у пня, —
маленькие тайны
мартовского дня.



* * *

Шагаю хвойною опушкой,
и улыбаюсь, и пою,
и жестяной помятой кружкой
из родничка лесного пью.
И слушаю, как славка свищет,
как зяблик ссорится с женой,
и вижу гриб у корневища
сквозь папоротник кружевной...
Но дело-то не в певчих птицах,
не в роднике и не в грибе, —
душа должна уединиться,
чтобы прислушаться к себе.
И раствориться в блеске этом,
и слиться с этой синевой,
и стать самой
теплом и светом,
водой,
и птицей,
и травой,
живыми соками напиться,
земную силу обрести,
ведь ей века еще трудиться,
тысячелетия расти.

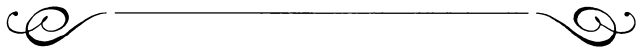


* * *

Я прощаюсь с тобою
у последней черты.
С настоящей любовью,
может, встретишься ты.
Пусть иная, родная,
та, с которою — рай,
все равно заклинаю:
вспоминай! вспоминай!
Вспоминай меня, если
хрустнет утренний лед,
если вдруг в поднебесье
прогремит самолет,
если вихрь закурчавит
душных туч пелену,
если пес заскучает,
заскулит на луну,
если рыжие стаи
закружит листопад,
если за полночь ставни
застучат невпопад,
если утром белесым
закричат петухи,
вспоминай мои слезы,
губы, руки, стихи...

Позабыть не старайся,
прочь из сердца гоня,
не старайся,
не майся, —
слишком много меня!



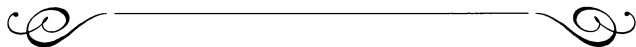


* * *

Мне говорят:
нету такой любви.
Мне говорят:
как все,
так и ты живи!
Больно многого хочешь,
нету людей таких.
Зря ты только морочишь
и себя и других!
Говорят: зря грустишь,
зря не ешь и не спишь,
не глупи!
Все равно ведь уступишь,
так уж лучше сейчас
уступи!
...А она есть.
Есть.
Есть.
А она — здесь,
здесь,
здесь,
в сердце моем
теплым живет птенцом,
в жилах моих
жгучим течет свинцом.
Это она — светом в моих глазах.

Это она — солью в моих слезах,
зрение, слух мой,
грозная сила моя,
солнце мое,
горы мои, моря!
От забвенья — защита,
от лжи и поверья — броня...
Если ее не будет,
не будет меня!
...А мне говорят:
нету такой любви.
Мне говорят:
как все,
так и ты живи!
А я никому души
не дам потушить.
А я и живу, как все
когда-нибудь
будут жить!





* * *

Пускай лучше ты не вступишь меня,
чем я не открою двери.

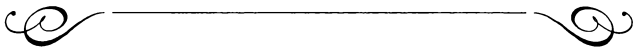
Пускай лучше ты обманешь меня,
чем я тебе не поверю.

Пускай лучше я в тебе ошибусь,
чем ты ошибешься во мне.

Пускай лучше я на дне окажусь,
чем ты по моей вине.

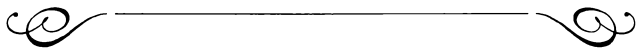
Пока я жива,
пока ты живой,
последнего счастья во имя,
быть солнцем хочу
над твоей головой,
землей —
под ногами твоими.





* * *

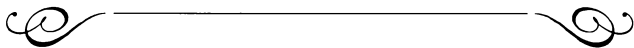
Знаю я бессильное мученье
над пустой тетрадкою в тиши,
знаю мысли ясное свечение,
звучную наполненность души.
Знаю также быта неполадки,
повседневной жизни маету,
я хожу в продмаги и палатки,
суп варю, стираю, пол мету...
Все-таки живется высоко мне.
Очень я тебя благодарю,
что не в тягость мне земные корни,
что как праздник
праздную зарю,
что утрами с пеньем флейты льется
в жбан водопроводная вода,
рыжий веник светится как солнце,
рдеют в печке чудо-города...
Длится волшебство не иссякая,
повинуются мне
ветер, дым,
пламя, снег и даже сны,
пока я
заклинаю именем твоим.



* * *

Бывало все: и счастье, и печали,
и разговоры длинные вдвоем.
Но мы о самом главном промолчали,
а может, и не думали о нем.
Нас разделило смутных дней течение —
сперва ручей, потом, глядишь, река...
Но долго оставалось ощущение:
не навсегда, ненадолго, пока...
Давно исчез, уплыл далекий берег,
и нет тебя, и свет в душе погас,
и только я одна еще не верю,
что жизнь навечно разлучила нас.



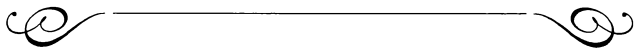


* * *

А знаешь, все еще будет!
Южный ветер еще подует,
и весну еще наколдует,
и память перелистает,
и встретиться нас заставит,
и еще меня на рассвете
губы твои разбудят.
Понимаешь, все еще будет!
В сто концов убегают рельсы,
самолеты уходят в рейсы,
корабли снимаются с якоря...
Если б помнили это люди,
чаще думали бы о чуде,
реже бы люди плакали.
Счастье — что оно? Та же птица:
пустишь и не поймает.
А в клетке ему томиться
тоже ведь не годится,
трудно с ним, понимаешь?
Я его не запру безжалостно,
крыльев не искалечу.
Улетаешь?
Лети, пожалуйста...
Знаешь, как отпразднуем
встречу!



60-е годы



Вареничка

Она была ошеломляюще красива! Посылая из армии стихи, получая на них доброжелательные отклики за подписью «Литконсультант «Комсомольской правды» Вероника Тушнова», я и предположить не мог, что однажды увижу ее — и ахну от восторга.

Смею теперь сказать, за давностью лет, что на Первом Всесоюзном совещании молодых писателей (который раз его вспоминаю!) мы чуть ли не поголовно были в нее влюблены. «Зверя ценного, пушного, покорила В. Тушнова» — вроде бы пошутил я; при всем юморе тут была крупнейшая доля правды. Может быть, я еще скажу об этом чуть позже. Если смогу.

А нас она воспринимала, в общем-то, на равных. Дело в том, что Вероника была удивительным другом. Не то чтоб «свой парень» — ни в коем случае, для этого она была слишком женщиной, — а какой-то надежнейший человек. Бывшая фронтовая медсестричка; вспомним полузабытый термин: сестра милосердия. Иногда, снисходя к нам или к вам, она могла произнести добрую неправду, но категорически не была способна на ложь. Конечно, она знала себе цену не только как поэту, но за много лет дружбы, от первой встречи до последней — уже навсегда — разлуки, я ни разу не ощутил в ее манере держаться не только превосходства, но и просто неделикатности.

Уход ее словно опрокинул меня. Год назад не стало Михаила Аркадьевича Светлова. Позже, не ведая грядущ-

щих потрясений, я написал: «Это главные потери в моей жизни». Теперь я знаю, что второстепенных потерь не бывает.

Надо ли сейчас уточнять, каким она была поэтом? В Красном Чикое, глухом райцентре Читинской области, у директора школы я увидел специальную полку с ее книгами и над ней портрет Вероники; мне сказали — «Это наша любовь». В городе Ханты-Мансийске ко мне подошли две женщины: «Правда ли, что вы знали Веронику Тушнову? Расскажите о ней!» В Казанском литмузее существует ее мемориальная комната (Вероника родилась и провела юность в Казани). На московские вечера, посвященные ей, бросив все дела и заботы, спешит народная артистка Элина Быстрицкая, внешне похожая на Веронику, талантливо читающая ее стихи...

В чем же суть того, что она стала (без особых — точнее, почти без всяких восхвалений критики) так любима и читаема?

Вероника почти все свои стихи, за немногими исключениями, написала «про это». По книжной терминологии — «любовная лирика». Если бы там речь шла о всяческих треволнениях двух любовников, вряд ли ее поэзия выдержала бы испытание временем. Нет, речь шла о том, что такое счастье. Давай все на двоих! Беда так беда, непогода так непогода, ликование так ликование! Но уж будь добр делиться, как в таежном походе: чтоб никаких преимуществ ни мне, ни тебе. Впрочем, я-то, в крайнем случае, утаю последний свой сухарь, чтоб ты, ослабев, имел чем подкрепить силы. Последнее никогда не говорилось открыто, в лоб, — Вероника была более чем деликатна, но она всегда подозревала в себе больший запас мужества, чем у ее лирического героя. Так оно и было.

Поймите меня правильно: я говорю не о житейских ситуациях, а о позиции поэта.

Подружка моя по фронтовой судьбе Юлия Друнина однажды сказала в стихах о Веронике: «...была красивой — не была счастливой». Не так! Вернее, не совсем так. Вероника *умела* быть счастливой, даже если все обстоятельства сопротивлялись этому. Последняя ее прижизненная книга называется «Сто часов счастья». Неужели это мало?

Память — штука коварная: она подсовывает легкомысленные воспоминания. Однажды утром я пришел к Веронике — давно дело было, прошу извинить! — не проспавшись после тяжелого вечернего шумства. Заговорили о нашем общем товарище, женившемся отнюдь не по любви: приданым была квартира и должностной тесть. «Вот кто, когда опомнится, почувствует истинное похмелье!» — злобно заявил я. Вероника возразила:

— Это у соболей бывает похмелье. У барсуков его никогда не бывает.

Несколько лет мы прожили в одной квартире с Марком Максимовым. По его сценарию пошел фильм, у меня поставили пьесу. Мы затеяли игру: каждый прихлопывал к стене свою афишу, полужакрыв афишу другого. Мы даже не разглядели нечто общее в названиях фильма и пьесы.

Вероника, зайдя в гости, сразу заметила.

— Живут два друга, — сказала она. — Один — «Лично известен». Другой — «Неизвестный».

А вот — кроме шуток.

На приемном заседании бюро секции поэтов Вероника «зарубила» одного стихотворца, работавшего в издательстве и с палаческой лихостью гробящего своих товарищей по поколению. «Вот его моральный облик!» — подытожила она. «Вы, вероятно, не разбираетесь в том, что означает понятие «моральный облик», — поправил ее председательствующий. И тут Вероника взярилась: «Нет, в этом —

моральный облик поэта, а не в случайном загуле или поводе для анонимки!»

Я хочу рассказать вам один эпизод. Может, рискованно и рановато его рассказывать, но главных героев нет уже в живых, и я тоже не бессмертен.

Вероника умирала — и почти знала об этом. Лечащий ее профессор сказал: «Я тебя выцарапаю!» Не знаю, верила ли она в это полностью, но капля надежды оставалась.

Я, придя к ней в палату, пытался ее развеселить. Она взмолилась: не надо! Ей давали злые антибиотики, стягивающие губы, ей было больно улыбаться.

Выглядела она предельно худо. Неузнаваемо.

А потом пришел — Он! Вероника скомандовала нам вернуться к стене, пока она оденется. Вскоре тихонько окликнула: «Мальчики...»

Я обернулся — и обомлел. Перед нами стояла — красавица! Не побоюсь этого слова, ибо сказано точно. Улыбающаяся, с пылающими щеками, никаких хворей вовеки не знавшая молодая красавица.

Как она хохотала, как была оживлена, как вдруг все вернулось на двадцать лет назад! И тут я с особой силой ощутил, что все, написанное ею, — правда. Абсолютная и неопровержимая правда. Это не выдумка поэта, а то, что обеспечено золотым — и горьким — запасом жизни. Наверное, именно это называется поэзией, а не наши порой упражнения в сопряжении худо-бедно организованных и зарифмованных строк.

Мы, давние ее друзья, иногда звали Веронику Тушнову не знаю кем придуманным ласкательно-кондитерским прозвищем: «Варенíчка». Она была очень славным человеком — она на него, с просверком смешинки в темно-карих, почти черных глазах, охотно отзывалась...

Марк Соболев



Не отрекаются
любя...

.

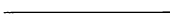
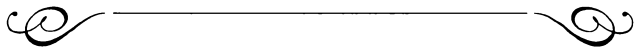




Рисунок Вероники Тушновой



...Писатель, сколько бы книг написать ему ни суждено, живет для главной своей книги...

...Чем далее перелистываешь строки разных лет, тем явственней как бы неизбежность последних, самых сильных стихов, созданных в крайнем страдании и острейшем счастье...

...Тушнова...нашла среди, казалось, исчерпанного новую, особую интонацию. Это неровное дыхание — ее. Ее кровная боль. Та самая, не оставляющая спокойным, обнаженность сердца. И любовь эта — трудная, поздняя — тоже ее...

Ирина Снегова



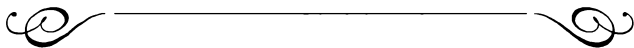


Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ ДОБРА!

Улыбаюсь, а сердце плачет
в одинокие вечера.
Я люблю тебя.
Это значит —
я желаю тебе добра.
Это значит, моя отрада,
слов не надо,
и встреч не надо,
и не надо моей печали,
и не надо твоей тревоги,
и не надо, чтобы в дороге
мы рассветы с тобой встречали.
Вот и старость вдали маячит,
и о многом забыть пора...
Я люблю тебя.
Это значит —
я желаю тебе добра.
Значит, как мне тебя покинуть,
как мне память из сердца вынуть,
как не греть твоих рук озябших,
непосильную ношу взявших?
Кто же скажет, моя отрада,
что нам надо,
а что не надо,
посоветует, как же быть?

Нам никто об этом не скажет,
и никто пути не укажет,
и никто узла не развяжет...
Кто сказал, что легко любить?



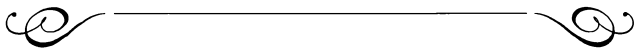


* * *

Хмурую землю
стужа сковала,
небо по солнцу
затосковало.
Утром темно,
и в полдень темно,
а мне все равно,
мне все равно!
А у меня есть любимый, любимый,
с повадкой орлиной,
с душой голубиной,
с усмешкою дерзкой,
с улыбкою детской,
на всем белом свете
один-единый.
Он мне и воздух,
он мне и небо,
все без него бездыханно
и немо...
А он ничего про это не знает,
своими делами и мыслями занят,
пройдет и не взглянет,
и не оглянется,
и мне улыбнуться
не догадается.

Лежат между нами
на веки вечные
не дальние дали —
года быстротечные,
стоит между нами
не море большое —
горькое горе,
сердце чужое.
Вовеки нам встретиться
не суждено...
А мне все равно,
мне все равно,
а у меня есть любимый, любимый!



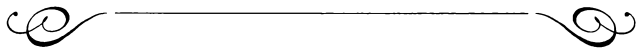


* * *

Нам двоим посвященная,
очень краткая,
очень долгая,
не по-зимнему черная,
ночь туманная, волглая,
неспокойная, странная...
Может, все еще сбудется?
Мне — лукавить не стану —
все глаза твои чудятся,
то молящие, жалкие,
то веселые, жаркие,
счастливые,
изумленные,
рыжевато-зеленые.
Переулки безлюдные,
непробудные улицы...
Мне — лукавить не буду —
все слова твои чудятся,
то несмелые, нежные,
то тревожные, грешные,
простые,
печальные
слова прощальные.
Эхо слышу я древнее,
что в полуночи будится,
слышу крови биение...

Может, все-таки сбудется?
Ну, а если не сбудется,
разве сгинет, забудется
тех мгновений течение,
душ заблудших свечение?





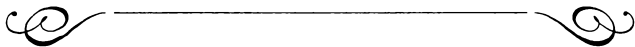
* * *

Я пенять на судьбу не вправе,
годы милостивы ко мне...
Если молодость есть вторая —
лучше первой она вдвойне.
Откровеннее и мудрее,
проницательней и щедрей.
Я горжусь и люблюсь ею —
этой молодостью моей.
Та подарком была, не боле,
та у всех молодых была.
Эту я по собственной воле,
силой собственной добыла.
Я в ее неизменность верю
оттого, что моя она,
оттого, что душой своею
оплатила ее сполна!



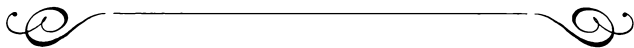


В. Тушова и Л. Ошанин со студентами



* * *

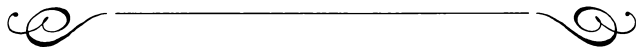
Все в доме пасмурно и ветхо,
скрипят ступени, мох в пазах...
А за окном — рассвет
и ветка
в аквамариновых слезах.
А за окном
кричат вороны,
и страшно яркая трава,
и погромыхиванье грома,
как будто валятся дрова.
Смотрю в окно,
от счастья плача,
и, полусонная еще,
щекою чувствую горячей
твое прохладное плечо...
Но ты в другом, далеком доме
и даже в городе другом.
Чужие властные ладони
лежат на сердце дорогом.
...А это все — и час рассвета,
и сад, поющий под дождем, —
я просто выдумала это,
чтобы побыть
с тобой вдвоем.



* * *

Сияет небо снежными горами,
гроздами округлых ярких туч.
Здесь тишина торжественна, как в храме,
здесь в вышине дымится тонкий луч.
Здесь теплят ели розовые свечи
и курят благовонную смолу.
Нам хвоя тихо сыплется на плечи,
и тропка нас ведет в густую мглу.
Все необычно этим летом странным:
и то, что эти ели так прямы,
и то, что лес мы ощущаем храмом,
и то, что боги в храме этом мы!



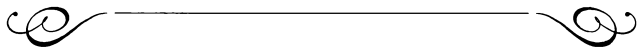


* * *

Что-то мне недужится,
что-то трудно дышится...
В лугах цветет калужница,
в реке ветла колышется,
и птицы, птицы, птицы
на сто ладов поют,
и веселятся птицы,
и гнезда птицы вьют.
...Что-то беспокойно мне,
не легко, не просто...
Стремительные, стройные
вокруг поселка сосны,
и тучи, тучи, тучи
белы как молоко,
и уплывают тучи
далёко-далеко.
Да и меня никто ведь
в плену не держит, нет.
Мне ничего не стоит
на поезд взять билет
и в полночь на разъезде
сойти в глуши лесной,
чтоб быть с тобою вместе,
чтоб стать весне весной.
И это так возможно...
И это так нельзя...

Летит гудок тревожно,
как филин голося,
и сердце, сердце, сердце
летит за ним сквозь мглу,
и горько плачет сердце:
«Как мало я могу!»



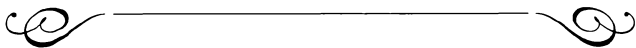


* * *

Не сули мне
золотые горы,
годы жизни доброй
не сули.
Я тебя покину очень скоро
по закону матери-земли.
Мне остались считанные весны,
так уж дай на выбор,
что хочу:
елки сизокрылые, да сосны,
да березку — белую свечу.
Подари веселую дворняжку,
хриплых деревенских петухов,
мокрый ландыш,
пыльную ромашку,
смутное движение стихов.
День дождливый,
темень ночи долгой,
всплески, всхлипы, шорохи
во тьме...
И сырых поленьев запах волглый
тоже, тоже дай на память мне.
Не кори, что пожелала мало,
не суди, что сердцем я робка.

Так уж получилось —
опоздала...
Дай мне руку!
Где твоя рука?





* * *

Сто часов счастья...
Разве этого мало?
Я его, как песок золотой,
намывала,
собирала любовно, неумоимо,
по крупице, по капле,
по искре, по блестке,
создавала его из тумана и дыма,
принимала в подарок
от каждой звезды и березки...
Сколько дней проводила
за счастьем в погоне
на продрогшем перроне,
в гремящем вагоне,
в час отлета его настигала
на аэродроме,
обнимала его, согревала
в нетопленном доме.
Ворожила над ним, колдовала...
Случалось, бывало,
что из горького горя
я счастье свое добывала.
Это зря говорится,
что надо счастливой родиться.
Нужно только, чтоб сердце
не стыдилось над счастьем трудиться,

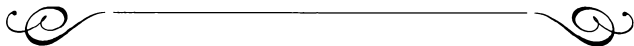
чтобы не было сердце
лениво, спесиво,
чтоб за малую малость
оно говорило «спасибо».

Сто часов счастья,
чистейшего, без обмана...
Сто часов счастья!
Разве этого мало?



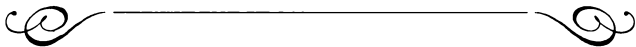


Выступление в Доме актера



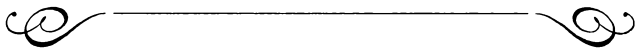
* * *

Не знаю — права ли,
не знаю — честна ли,
не помню начала,
не вижу конца...
Я рада,
что не было встреч под часами,
что не целовались с тобой
у крыльца.
Я рада, что было так немо и прямо,
так просто и трудно,
так нежно и зло,
что осенью пахло
тревожно и пряно,
что дымное небо на склоны ползло.
Что сплетница сойка
до хрипу кричала,
на все побережье про нас раззвоня.
Что я ничего тебе
не обещала
и ты ничего не просил
у меня.
И это нисколько меня не печалит, —
прекрасен той первой поры неуют...
Подарков не просят
и не обещают,
подарки приносят
и отдают.



* * *

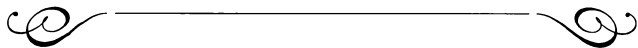
Одна сижу на пригорке
посреди весенних трясин.
...Я люблю глаза твои горькие,
как кора молодых осин,
улыбку твою родную,
губы, высохшие на ветру...
Потому, — куда ни иду я,
и тебя с собою беру.
Все я тебе рассказываю,
обо всем с тобой говорю,
первый ландыш тебе показываю,
шишку розовую дарю.
Для тебя на болотной ржави
ловлю отраженья звезд...
Ты все думаешь — я чужая,
от тебя за десятки верст?
Ты все думаешь — нет мне дела
до озябшей твоей души?
Потемнело, похолодело,
зашуршали в траве ежи...
Вот уже и тропы заросшей
не увидеть в ночи слепой...
Обними меня, мой хороший,
бесприютные мы с тобой.



ЧЕРЕМУХА

Дурманящей, росистой чашею
черемуха —
дыши, гляди,
ласкай, ломай...
И боль щемящая —
как мало весен впереди!
А стоит ли уж так печалиться,
прощаясь с миром дорогим?
Ничто на свете не кончается,
лишь поручается другим.
Другим любовь моя завещана,
в других печаль моя горька...
Сто тысяч раз
другая женщина
все пронесет через века.
Ничто не пропадет, не минется.

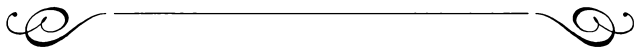
Все праздничнее, все милей
цветет черемуха —
любимица
покойной матери моей.



* * *

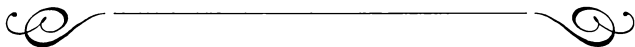
Почему говорится:
«Его не стало»,
если мы ощущаем его
непрестанно,
если любим его,
вспоминаем,
если —
это мир, это мы
для него
исчезли.
Неужели исчезнут
и эти ели
и этот снег
навсегда растает?
Люди любимые,
неужели
вас
у меня не станет?





* * *

Дождик сеет, сеет, сеет,
с полуночи моросит,
словно занавес кисейный
за окошками висит.
А в лесу кричат кукушки,
обещают долгий век...
Мне не грустно
и не скучно,
я счастливый человек.
Из раскрытой настежь двери
пахнет глиной и травой.
А кукушкам я не верю,
врать кукушкам
не впервой!
Да и что считать без толку,
лишним годом дорожить?
Ну недолго,
так недолго,
только б счастливо прожить.
Так прожить,
чтоб все, что снится, —
все сбывалось наяву,
так прожить,
чтоб петь как птица, —
так прожить,
как я живу!



* * *

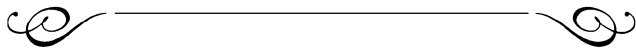
Небо желтой зарей окрашено,
недалеко до темноты...
Как тревожно, милый,
как страшно,
как боюсь твоей немоты.
Ты ведь где-то живешь и дышишь,
улыбаешься, ешь и пьешь...
Неужели совсем не слышишь?
Не окликнешь? Не позовешь?
Я покорной и верной буду,
не заплачу, не укорю.
И за праздники,
и за будни,
и за все я благодарю.
А всего-то и есть:
крылечко,
да сквозной дымок над трубой,
да серебряное колечко,
пообещанное тобой.
Да на дне коробка картонного
два засохших с весны стебля,
да еще вот — сердце,
которое
мертвым было бы
без тебя.



* * *

Без обещаний
жизнь печальней
дождливой ночи без огня.
Так не жалея же обещаний,
не бойся обмануть меня.
Так много огорчений разных
и повседневной суеты...
Не бойся слов —
прекрасных, праздных,
недолговечных, как цветы.
Сердца людские так им рады,
мир так без них
пустынно тих...
И разве нет в них
высшей правды
на краткий срок цветенья их?

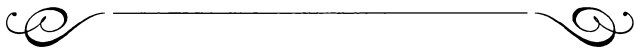




СИНЯЯ ПТИЦА

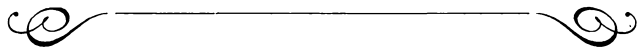
Ты на рынке
мне купил голубку.
Маленькую,
худенькую,
хрупкую,
рыжевато-палевой окраски
птицу,
прилетевшую из сказки.
Вытащил помятую рублевку,
чтобы за покупку расплатиться...
Боже, как давно
и как далеко
я разыскивала
эту птицу.
Позади, без малого, полсвета,
скоро жизнь мою оденет иней...
А она была
совсем не синяя, —
рыжевато-палевого цвета.





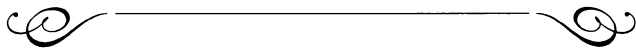
* * *

Осчастливь меня однажды,
позови с собою в рай,
исцели меня от жажды,
подышать немного дай!
Он ведь не за облаками,
не за тридевять земель, —
там снежок висит клоками,
спит апрельская метель.
Там синее ельник мелкий,
на стволах ржавеет мох,
перепархивает белка,
будто розовый дымок.
Отливая блеском ртутным,
стынет талая вода...
Ты однажды
ранним утром
позови меня туда!
Я тебе не помешаю
и как тень твоя пройду...
Жизнь такая небольшая,
а весна — одна в году.
Там поют лесные птицы,
там душа поет в груди...
Сто грехов тебе простится,
если скажешь:
— Приходи!



ВАЛЬДШНЕП

Влетел он в полымя заката
и замелькал, и зачернел,
и не слышал,
как в два раската
гром над поляной прогремел.
Свинца горячие крупницы
ударили наперерез,
и люди радовались птице,
упавшей на́ землю
с небес.
Среди осин и елей мрачных,
зарывшись в прошлогодний лист,
лежал крылатый неудачник,
весны подстреленный связист.
И длинный клюв
торчал, как шильце,
из горстки пестрого пера...
Кто знал, что этим завершится
весны любовная пора?
Какая радость им владела,
как жизнь была ему легка,
и как бы я его жалела,
когда б не гордость
за стрелка!



* * *

Бывают весны разными:
стремительными, ясными,
ненастными и грустными,
с облаками грузными...
А я была бы рада
всякой,
любой,
только бы, только бы, только бы
с тобой.
Только б ветки влажные,
талая земля,
только хоть однажды бы:
«Хорошая моя!»
Только хоть однажды бы
щекой к щеке
да гудки протяжные
вдалеке...





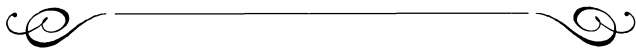
Вл. Луговской и В. Тушнова с читателями



* * *

Быть хорошим другом обещался,
звезды мне дарил и города.
И уехал,
и не попрощался.
И не возвратится никогда.
Я о нем потосковала в меру,
в меру слез горячих пролила.
Прижилась обида,
присмирела,
люди обступили
и дела...
Снова поднимаюсь на рассвете,
пью с друзьями, к случаю, вино,
и никто не знает,
что на свете
нет меня уже давным-давно.





ДОМ МОЙ — В СЕРДЦЕ ТВОЕМ

I

Знаешь ли ты,
что такое горе,
когда тугою петлей
на горле?
Когда на сердце
глыбою в тонну,
когда нельзя
ни слезы, ни стоны?
Чтоб никто не увидел,
избави боже,
покрасневших глаз,
потускневшей кожи,
чтоб никто не заметил,
как я устала,
какая больная, старая
стала...
Знаешь ли ты,
что такое горе?
Его переплыть
все равно что море,
его перейти
все равно что пустыню,
а о нем говорят

словами пустыми,
говорят:
«Вы знаете, он ее бросил...»
А я без тебя
как лодка без весел,
как птица без крыльев,
как растение без корня...
Знаешь ли ты, что такое горе?
Я тебе не все еще рассказала, —
знаешь, как я хожу по вокзалам?
Как расписания изучаю?
Как поезда по ночам встречаю?
Как на каждом почтамте
молю я чуда:
хоть строки, хоть слова
оттуда... оттуда...

II

Мне казалось, нельзя,
чтоб «Выхода нет».
А вот оказалось, случается.
На́ год,
на́ два,
на десять лет
выхода нет!
А жизнь не кончается.
А жизнь не кончается все равно,
а люди встречаются,
пьют вино,
смотрят кино,
в автобусах ездят,
ходят по улицам
вместе... вместе...
Называют друг друга:
«Моя!»,
«Мой!».
Говорят друг другу:
«Пойдем домой!»
Домой...
А ты мне: «Куда пойдем?»
У бездомных разве бывает дом?

III

Дом — четыре стены...
Кто сказал, что четыре стены?
Кто придумал, что люди
на замок запираются должны?
Разве ты позабыл,
как еловые чащи темны
и какие высокие звезды
для нас зажжены?
Разве ты позабыл, как трава луговая
мягка,
как лодчонку рыбачью
качает большая река,
разве ты позабыл
полыханье и треск
сушняка?
Неужели так страшно,
если нет над тобой
потолка?
Дом — четыре стены...
Ну, а если у нас их нет?
Если нету у нашего дома
знакомых примет,
ни окна, ни крыльца,
ни печной трубы,
если в доме у нас
телеграфные стонут столбы,
если в доме у нас,
громыхая, летят поезда?...
Ни на что, никогда
не сменяю я этой судьбы,
в самый ласковый дом
не войду без тебя
никогда.

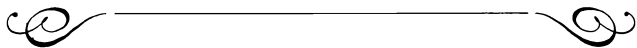
Помню первую осень,
когда ты ко мне постучал,
обнимал мои плечи,
гладил волосы мне
и молчал...
Я боялась тебя,
я к тебе приручалась с трудом,
я не знала, что ты
мой родник,
хлеб насущный мой,
дом!
Я не знала, что ты —
воскресение, родина, свет!..
А теперь тебя нет,
и на свете приюта мне нет!

.....

Ты не молод уже,
мой любимый?..
А я молода?
Ты устал, мой любимый?..
А я? — хоть бы день без труда,
хоть бы час без забот...
Все равно —
в самый ласковый дом
без тебя не войду...
Дом мой — это с тобою вдвоем,
дом мой — в сердце твоём!
Ты не думай, я смелая,
не боюсь ни обиды, ни горя,
что захочешь —
все сделаю, —
слышишь, сердце мое дорогое?

Только б ты улыбался,
только б прежним собой
становился,
только б не ушибался,
как пойманный сокол не бился...
...Знаешь ли ты,
что такое горе?
Его переплыть
все равно что море,
его перейти
все равно что пустыню,
да ведь нет другой дороги
отныне,
и нашлась бы — так я не пойду
другою...
Знаешь ли ты,
что такое горе?
.....
А знаешь ли ты,
что такое счастье?





* * *

Всех его сил проверка,
сердца его проверка, —
чести его проверка, —
жестока, тяжка, грозна,
у каждого человека
бывает своя война.
С болезнью, с душевной болью,
с наотмашь бьющей судьбой,
с предавшей его любовью
вступает он в смертный бой.
Беды, как танки, ломаются,
обиды рубят сплеча,
идут в атаки бессонницы,
ночи его топча.
Золой глаза запорошены, —
не видит он ничего,
а люди: «Ну, что хорошего?» —
спрашивают его.
А люди — добрые, умные
(господи им прости) —
спрашивают, как думает
лето он провести?
Ах, лето мое нескончаемое,
липки худенькие мои,
городские мои, отчаянные,
героические соловьи...

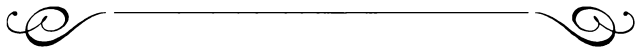
Безрадостных дней кружение,
предгрозовая тишина.
На осадное положение
душа переведена.
Только б, в сотый раз умирая,
задыхаясь в блокадном кольце,
не забыть —
Девятое мая
бывает где-то в конце.





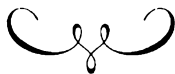
УТРО

Вся ночь без сна...
А после, в роще,
березовая тишина,
и всё приемлемее, проще,
и жизнь как будто решена.
Боль приглушенной, горе выше,
внимательней душа моя...
Я в первый раз воочью вижу:
не солнце движется —
земля.
Налево клонятся березы,
налево падают кусты,
и сердце холодеет грозно
на кромке синей пустоты.
Всё так ничтожно — ссоры, споры,
все беды и обиды все.
Еще пустынно, знобко, сонно,
трава купается в росе.
Шмелиной музыке внимаю,
вникаю в птичью кутерьму...
Я прозреваю, понимаю,
еще чуть-чуть —
и все пойму.



ПИСЬМО

Просто синей краской на бумаге
неразборчивых значков ряды,
а как будто бы глоток из фляги
умирающему без воды.
Почему без миллионов можно?
Почему без одного нельзя?
Почему так медлила безбожно
почта, избавление неся?
Наконец-то отдохну немного.
Очень мы от горя устаем.
Почему ты не хотел так долго
вспомнить о могуществе своем?

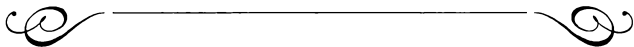




КОСТЕР

Ни зяблика, ни славки, ни грача.
Стволы в тумане.
Гаснет день короткий.
Лесной костер
грызет сушняк, урча,
и греет нас — услужливый и кроткий.
Рожденное от хищного огня,
с орешником заигрывает пламя...
Ну, что молчишь? Что смотришь на меня
такими несчастливыми глазами?
Как много раз ты от меня бежал,
как много раз я от тебя бежала...
Мы жгли костер.
Гудит лесной пожар.
Не поздно ли спастись
от пожара?

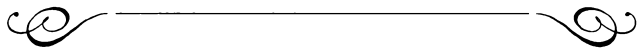




* * *

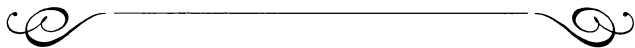
Не о чем мне печалиться,
откуда же
слезы эти?
Неужели сердце прощается
со всем дорогим на свете —
с этим вечером мгlistым,
с этим безлистным лесом...
А мне о разлуке близкой
ничего еще не известно.
Все еще верю:
позже,
когда-нибудь...
в марте... в мае...
Моя последняя осень.
А я ничего не знаю.
А сны все грустнее снятся,
а глаза твои все роднее,
и без тебя оставаться
все немислиней!
Все труднее!





* * *

Глаза твои хмурятся,
горькие, мрачные,
тянется, курится
зелье табачное,
слоятся волокна
длинные, синие,
смотрится в окна
утро бессильное.
Сердце не греется,
дело не ладится,
жизнь драгоценная
попусту тратится.
Может быть, кажется,
может быть, чудится,
что ничего уже в жизни
не сбудется...
Думаю с грустью:
чего я стою?
На что гоюсь я? —
место пустое!
Чего я стою
с любовью моею,
если помочь тебе
не умею?

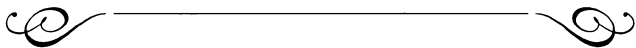


* * *

Гонит ветер
туч лохматых клочья,
снова наступили холода.
И опять мы
расстаемся молча,
так, как расстаются
навсегда.
Ты стоишь и не глядишь вдогонку.
Я перехожу через мосток...
Ты жесток
жестокостью ребенка —
от непонимания жесток.
Может, на́ день,
может, на́ год целый
эта боль мне жизнь укоротит.
Если б знал ты подлинную цену
всех твоих молчаний и обид!
Ты бы позабыл про все другое,
ты схватил бы на руки меня,
поднял бы
и вынес бы из горя,
как людей выносят из огня.



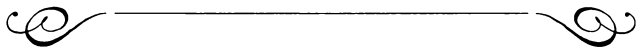
«Физики и лирики». С академиком Л. Ландау



* * *

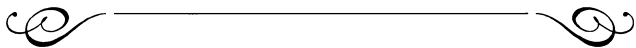
Не охладела, нет,
скрываю грусть.
Не разлюбила —
просто прячу ревность.
Не огорчайся,
скоро я вернусь.
Не беспокойся,
никуда не денусь.
Не осуждай меня,
не прекословь,
не спорь
в своем ребячестве
жестоком...
Я для тебя же
берегу любовь,
чтоб не изранил насмерть
ненароком.





* * *

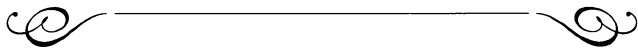
Ну что же, можешь покинуть,
можешь со мной расстаться, —
из моего богатства
ничего другой не отдастся.
Не в твоей это власти,
как было, так все и будет.
От моего злосчастья
счастья ей не прибудет.
Ни любви ей,
ни ласки
не добавится ни крупички!
Не удастся тебе,
не удастся
душой моей откупиться.
Напрасно стараться будешь:
нет любви — не добудешь,
есть любовь — не забудешь,
только счастье загубишь.
Рыжей глиной засыплешь,
за упокой выпьешь...
Домой воротишься — пусто,
из дому выйдешь — пусто,
в сердце заглянешь — пусто,
на веки веков — пусто!



* * *

Так уж сердце у меня устроено —
не могу вымаливать пощады.
Мне теперь — на все четыре стороны...
Ничего мне от тебя не надо.
Рельсы — от заката до восхода,
и от севера до юга — рельсы.
Вот она — последняя свобода,
горькая свобода погорельца.
Застучат, затарахтят колеса,
вольный ветер в тамбуре засвищет,
полетит над полем, над откосом,
над холодным нашим пепелищем.





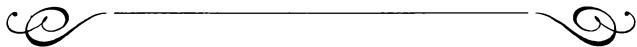
* * *

Все было до меня: десятилетия
того, что счастьем называем мы.
Цвели деревья,
вырастали дети,
чередовались степи и холмы,
за ветровым стеклом рождались зори
очередного праздничного дня,
был ветер,
берег,
дуб у лукоморья,
пир у друзей, —
все это без меня.
Моря и реки шли тебе навстречу,
ручной жар-птицей
в руки жизнь плыла...
А я плутала далеко-далече,
а я тогда и ни к чему была.
Ты без меня сквозь годы пробивался,
запутывался и сплеча рубил,
старался, добивался, любовался,
отпировал, оплакал, отлюбил...
Ты отдал все, что мог, любимой ради,
а я? —

всего глоток воды на дне,
сто скудных грамм в блокадном
Ленинграде...

Завидуйте,
все любящие,
мне!

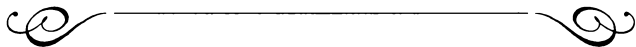




* * *

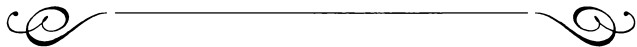
Я одна тебя любить умею,
да на это права не имею,
будто на любовь бывает право,
будто может правдой
стать неправда.
Не горит очаг твой, а дымится,
не цветет душа твоя — пылится.
Задыхаясь, по грозе томится,
ливня молит, дождика боится...
Все ты знаешь, все ты понимаешь,
что подаришь — тут же отнимаешь.
Все я знаю, все я понимаю,
боль твою качаю, унимаю...
Не умею сильной быть и стойкой,
не бывать мне ни грозой, ни бурей...
Все простишь ты мне, вину любую,
кроме этой
доброты жестокой.





* * *

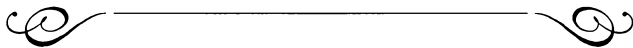
Мне на долю отпущены
все недуги твои и невзгоды,
с холодами и тучами
дни уныния и непогоды.
Я беру, я согласна,
я счастлива долей моею,
уступаю все «ясно»
и всеми «ненастно»
владею!
Разжигаю костры,
и топлю отсыревшие печи,
и люблюсь, как ты
расправляешь поникшие плечи,
и слежу, как в глазах твоих
льдистая корочка тает,
как душа твоя пасмурная
рассветает и расцветает.
Ничего мне другого
не нужно, не нужно, не нужно,
хорошо, что так часто бывает
дождливо и вьюжно,
что порог твой то снегом,
то мертвой листвой
заметает,
хорошо, что так часто
меня тебе
не хватает!



* * *

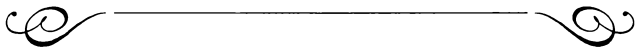
Опять утрами — лучезарный иней
на грядках, на перилах, на траве.
Оцепененье.
Воздух дымно-синий.
Ни ласточки, ни тучки в синеве.
Сияющая обнаженность рощи,
лиловых листьев плотные пласты.
Наверно, нет
пронзительнее, проще
и одухотворенней красоты.

Все чаще думается мне с тоскою,
что впереди не так уж много дней.
Я прежде не любила Подмосковья.
Кого винить мне
в бедности моей?
А это все существовало. Было.
Лес. Первый иней. Талая вода.
Шел дождь.
Шиповник цвел.
Метель трубила.
...Я и тебя когда-то не любила.
Где я была?
Кто я была тогда?



Помнишь, как залетела в окно
 синица,
какого наделала переполоху?
Не сердись
на свою залетную птицу,
сама понимаю,
что это плохо.





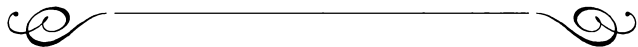
* * *

Где-то чавкает вязкая глина,
и, как было во веки веков, —
разговор журавлиного клина
замирает среди облаков.
Тальники вдоль размытого лога
по колено в осенней грязи...
...Увези ты меня, ради бога,
хоть куда-нибудь увези!
Увези от железного грома,
от камней, задушивших меня,
как давно не бывала я дома,
не видала живого огня.
Как давно я под сумраком хвойным
не бродила в намокшем плаще,
не дышала спокойно и вольно,
засыпая на верном плече.
Ах, дорога, лесная дорога!
Сколько этих дорог на Руси...
...Увези ты меня, ради бога,
хоть куда-нибудь увези!





На встрече с Ю. Гагариным

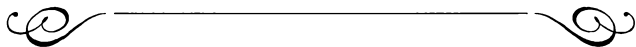


* * *

Сколько же раз можно терять
губы твои, русую прядь,
ласку твою, душу твою...
Как от разлуки я устаю!
Холодно мне без твоей руки,
живу я без солнца и без огня...
Катятся воды лесной реки
мимо меня... мимо меня...
Старые ели в лесу кряхтят,
к осени тише птичья возня...
Дни твои медленные летят
мимо меня... мимо меня...
С желтых берез листья летят,
и за моря птицы летят,
и от костра искры летят
мимо меня... мимо меня...
Скоро ли кончится — мимо меня?
Скоро ли вечер долгого дня,
плащ и кошелку — и на вокзал,
как приказал ты,
как наказал...
Будет, ах будет лесная река,
кряканье утки, треск сушняка,
стены тесовые, в окна луна,

и тишина, тишина, тишина...
Буду я гладить русую прядь,
сердце твое целовать, отворять,
будут все горести пролетать
мимо меня... мимо меня...



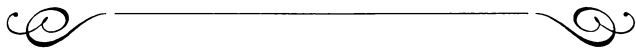


* * *

Еду я дорогой длинной...
Незнакомые места.
За плечами сумрак дымный
замыкает ворота.
Ельник сгорбленный, сивый
спит в сугробах по грудь.
Я возницу не спросила —
далеко ль держим путь?
Ни о чем пытаться не стала, —
все равно, все равно,
пограничную заставу
миновали давно.
Позади пора неверья,
горя, суеты людской.
Спят деревни, деревья
в тишине колдовской.
В беспредельном хвойном мире
беглеца угляди...
Было горе — нету горя, —
позади! Позади!
Русь лесная ликом древним
светит мне там и тут,
в тишину по снежным гребням
сани валко плывут.

Будто в зыбке я качаюсь,
засыпаю без снов...
Возвращаюсь, возвращаюсь
под родимый кров.



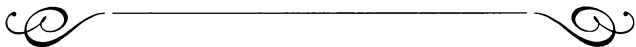


НАСЛЕДСТВО

Глухо шумят деревья
царства лесного...
Мне отпирают двери,
отодвигают засовы.
У крыльца — сугроб по колено,
в сенцах — кадка с водою...
Помогите мне, стены,
запах дыма и запах хвои,
помоги мне, вечер туманный, —
в этот мир незнакомый
вхожу я не гостей званой, —
дочерью незаконной.
Будьте великодушны,
отдайте мое наследство,
отдайте — мне очень нужно —
снег моего детства,
свет моего детства
на темных смолистых бревнах,
теплую память детства,
прибежище душ бездомных.
Не пожалейте, отдайте
дочери незаконной
это старое мамино платье,
этот снежный мрак законный.
Отдайте мне этот фикус,
этот пышный китайский розан...

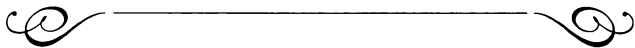
Никак я с мыслью не свыкнусь,
что поздно все это, поздно...
Тоскую я, и ревную,
и плачу, и снова, снова
воду пью ледяную
из ковшика жестяного.





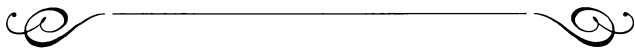
ЗВУКИ ДОМА

Все очень легко и странно,
знакомо и незнакомо.
Я просыпаюсь рано,
слушаю звуки дома:
дрова перед печкою брошены,
брякнул дверной замок,
одна за другой
картошины
падают в чугунок.
Торжественный и спокойный
звук наполняет дом,
словно дальний звон
колокольный:
дон! дон! дон!
Гремит печная заслонка,
трещит береста в огне,
стучат торопливо, ломко
ходики на стене.
Лежу, ни о чем не думая,
слушаю, как легки
старческие, бесшумные,
войлочные шаги.
Страшно пошевелиться мне:
слушаю не дыша —
поскрипывает половицами
дома душа.



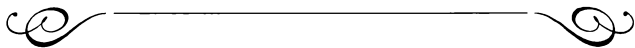
* * *

Вот говорят: Россия...
Реченьки да березки...
А я твои руки вижу,
узловатые руки,
жесткие.
Руки, от стирки сморщенные,
слезами горькими смоченные,
качавшие, пеленавшие,
на победу благословлявшие.
Вижу пальцы твои сведенные, —
все заботы твои счастливые,
все труды твои обиденные,
все потери неисчислимые...
Отдохнуть бы, да нет привычки
на коленях лежать им праздно...
Я куплю тебе рукавички,
хочешь — синие, хочешь — красные?
Не говори «не надо», —
мол, на что красота старухе?
Я на сердце согреть бы рада
натруженные твои руки.
Как спасенье свое держу их,
волнения не осия.
Добрые твои руки,
прекрасные твои руки,
мать моя, Россия!



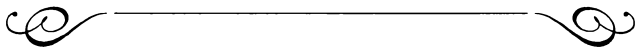
ПОЛНОЛУНИЕ

Стемнело. По тропинкам снежным
хозяйки с ведрами пошли.
Скрипят таинственно и нежно
колодезные журавли.
Смех, разговор вдоль длинных улиц,
но враз пропали голоса,
и словно бы плотней сомкнулись
кольцом дремучие леса.
Я прохожу пустой деревней,
я выхожу за крайний дом.
Мир обретает облик древний
в сиянье млечно-золотом.
А небо-то и вправду купол!
С непостижимой вышины
стекают медленно и скупю
лучи невидимой луны.
Они переполняют тучи,
просачиваются в снега,
они бесплотны, вездесущи,
они — веками... на века...
Нездешнее сиянье льется,
мерцают срубы в глыбах льда,
и смутно светится в колодцах
животворящая вода.



ПОЮТ ПЕТУХИ...

Я все о своем, все о своём —
знаешь, когда поют петухи?
Перед рассветом,
перед дождем,
перед весной
поют петухи.
За полночь выйду
в снег, в тьму...
Спит мое счастье
в теплом доме.
Снег под ногами
летит, свистит,
в черном разводе
звезда блеснит...
Хорошо, что пурга,
хорошо, что звезда,
хорошо, что не ходят сюда
поезда,
что до самого неба —
леса, леса,
что случаются все-таки
чудеса!
Где-то далеко запел петух, —
наверное, сейчас около двух.
Снега глубоки,
ночи глухи,
наверно, к весне
поют петухи.



* * *

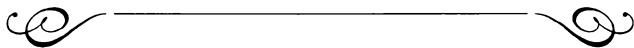
О, эти февральские вьюги,
белесый мятущийся мрак,
стенанья и свист по округе,
и — по́ пояс в снег, что ни шаг...

О, эти ночные прогулки,
уходы тайком со двора,
дремучей души закоулки,
внезапных открытий пора.

Томящее нас ощущение,
что вдруг — непонятно, темно —
раздельное мыслей течение
вливается в русло одно.

И все растворяется в мире
кипящих лесов и снегов,
и счастье все шире и шире,
и вот уже нет берегов!





ЛИСТВЕННИЦА

Снег мерцает полночью лунной,
то светлея, то потухая...
Признавайся — разве ты думал,
представлял, что она такая?
Сбросив свое сожженное
стужею одеяние,
стоит она, обнаженная,
не дерево — изваяние.
Как стремительна в блеске тусклом
ветвей ее долгих сила,
ветвей ее долгих сила,
лиственница красива.
Древним востоком веет
от начертанных тушью линий,
глядят глаза и не верят
яркости их незимней.
В сердце моем поныне
облик ее летящий
в небесной светлой пустыне
над деревенькой спящей.



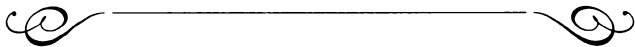


МЕЛЬНИЦА

Стоит в сугробах мельница,
ничто на ней не мелется,
четыре с лишним месяца
свистит над ней метелица...
От ветра сосны клонятся,
от снега ветви ломаются,
спит омут запорошенный
под коркой ледяной,
на мельнице заброшенной
зимует водяной.
До самой этой мельницы
два лыжных следа стелются,
у самой этой мельницы
дорога на две делится:
ты идешь направо,
я иду налево...
Никогда обратно
не вернусь, наверно!
А зима-то кончится,
капелью снег источится,
весна польется балками,
распустится фиалками,
заблещет омут под луной,
спросонья крикнет водяной,
от счастья ошалевшие,
опять запляшут лешие,

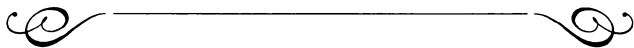
и светляки засветятся,
и жернова завертятся,
и соловьи рассыпятся
по чащам, зазвения...
...Да ты-то к речке выйдешь ли?
Услышишь ли, увидишь ли
все это без меня?





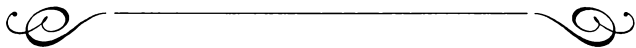
* * *

Ночью на станции — ветер, ветер,
в проводах телеграфных —
гудение пчел...
Я писала тебе,
а ты не ответил.
Ну и что же...
Только бы ты прочел.
Только б душа была обогрета,
глаза усмехнулись бы из-под век,
только б счастлив ты был,
что где-то
существует твой собственный человек.
Спасибо, спасибо за то, что веришь.
Очень тоскую я по тебе.
...Лампу задул ли?
Запер ли двери?
Не угорел бы в жаркой избе!
...Ночью на станции — ветер, ветер,
на север, на север
бредут столбы...
Спасибо за то, что живешь на свете,
хозяин моей судьбы!



* * *

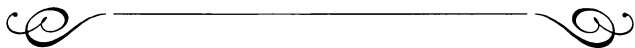
Ты все еще тревожишься — что будет?
А ничего. Все будет так, как есть.
Поговорят, осудят, позабудут, —
у каждого свои заботы есть.
Не будет ничего...
А что нам нужно?
Уж нам ли не отпущено богатств:
то мрак, то свет, то зелено, то вьюжно,
вот в лес весной отправимся, бог даст...
Нет, не уляжется,
не перебродит!
Не то, что лечат с помощью разлук,
не та болезнь, которая проходит,
не в наши годы...
Так-то, милый друг!
И только ночью боль порой разбудит,
как в сердце — нож...
Подушку закушу
и плачу, плачу,
ничего не будет!
А я живу, хожу, смеюсь, дышу...



* * *

Не боюсь, что ты меня оставишь
для какой-то женщины другой,
а боюсь я,
что однажды станешь
ты таким же,
как любой другой.
И пойму я, что одна в пустыне, —
в городе, огнями залитом,
и пойму, что нет тебя отныне
ни на этом свете,
ни на том.

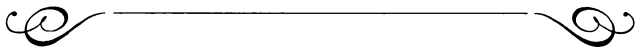




* * *

Ты не горюй обо мне, не тужи, —
тебе, а не мне доживать во лжи,
мне-то никто не прикажет «молчи!»,
улыбайся, когда хоть криком кричи.
Не надо мне до скончанья лет
думать — да, говорить — нет.
Я-то живу, ничего не тая,
как на ладони вся боль моя,
как на ладони вся жизнь моя,
какая ни есть, вот она — я!
Мне тяжело,
тебе тяжелей...
Ты не меня — ты себя
жалей.



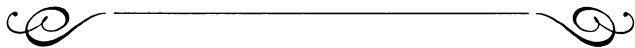


* * *

Вот уеду, исчезну,
на года, навсегда,
кану в снежную бездну,
пропаду без следа.

Час прощанья рисую,
гладкий след от саней...
Я ничем не рискую,
кроме жизни своей.





* * *

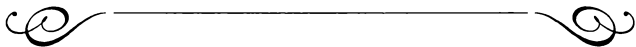
У всех бывают слабости минуты,
такого разочарованья час,
когда душа в нас леденеет будто
и память счастья
покидает нас.

Напрасно разум громко и толково
твердит нам список радостей земных:
мы помним их, мы верить в них

готовы —

и все-таки не можем верить в них.
Обычно все проходит без леченья,
помучит боль и станет убывать,
а убивает
в виде исключения,
о чем не стоит все же
забывать.





РАСКАЯНИЕ

Я не люблю себя такой,
не нравлюсь я себе, не нравлюсь!
Я потеряла свой покой,
с обидою никак не справлюсь.

Я не плаваю — иду ко дну,
на три шага вперед не вижу,
себя виню, тебя кляню,
бунтую, плачу, ненавижу...

Опамятуйся, просветлей,
душа! Вернись, бывшее зренье!
Земля, пошли мне исцеленье,
влей в темное мое смятение
спокойствие твоих полей!

Дни белизны... чистейший свет...
живые искры снежной пыли...
«Не говори с тоской — их нет,
но с благодарностью — были».

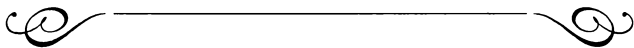
Все было — пар над полыньей,
молчанье мельницы пустынной,
пересеченные лыжней
поляны ровности простынной,
и бора запах смоляной,
и как в песцовых шубах сучья,

и наводненное луной
полночной горницы беззвучье...

У всех бывает тяжкий час,
на злые мелочи разъятый.
Прости меня на этот раз,
и на другой, и на десятый, —
ты мне такое счастье дал,
его не вычтешь и не сложишь,
и сколько б ты ни отнимал,
ты ничего отнять не сможешь.

Не слушай, что я говорю,
ревнуя, мучаясь, горяя...
Благодарю! Благодарю!
Вовек
не отблагодарю я!





* * *

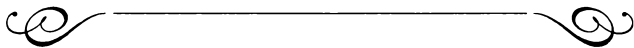
Ну, пожалуйста, пожалуйста,
в самолет меня возьми,
на усталость мне пожалуйста,
на плече моем усни.
Руку дай, сводя по лесенке,
на другом краю земли,
где встают, как счастья вестники,
горы дымные вдали...
Ну, пожалуйста, в угоду мне,
не тревожься ни о чем,
тихой ночью сердце города
отопри своим ключом.
Хорошо, наверно, ночью там, —
темнота и тишина.
Мы с тобой в подвале сводчатом
выпьем местного вина.
Выпьем мы за счастье трудное,
за дорогу без конца,
за слепые, безрассудные,
неподсудные сердца...
Побредем по сонным дворикам,
по безлюдным площадям,
улыбаться будем дворникам,
будто найденным друзьям.

Под платанами поблекшими
будем листьями шуршать,
будем добрыми, хорошими,
будем слушать осень позднюю,
радоваться и дышать!





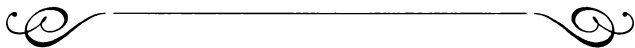
С поэтом А. Яшиным в редакции газеты
«Кавказская здравница». Кисловодск, 1965 г.



В САМОЛЕТЕ

Молчали горы — грузные и грозные,
ощеря белоснежные клыки.
Свивалось их дыхание морозное
в причудливые дымные клубки.
А в синеве, над пеленой молочной,
как божий гром
«ТУ-104» плыл,
уверенный в себе,
спокойный, мощный,
слепя глаза тяжелым блеском крыл.
Он плыл над неприступной цитаделью
отвесных скал,
 лавин,
 расселин,
 льда...

Он неуклонно приближался к цели
и даже без особого труда.
Следила я, как дали он глотает, —
цель! Только цель! — и больше ничего.
И думала:
как сердцу не хватает
непогрешимой точности его.

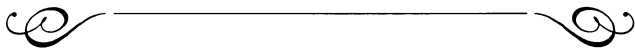


СНОВИДЕНИЕ

Вижу сон: у окошка
сидишь ты в бревенчатом доме,
подаешь мне сережки
на старушечьей темной ладони.
Два грошовых цветочка,
со стеклянною сердцевиной,
и тоскливо мне, точно
я не в гости пришла,
а с повинной.
И тревожно мне, будто
какое-то горе нависло,
будто эти минуты
исполнены тайного смысла.
Ты напомнить мне хочешь?
Так я ж ничего не забыла,
все, что я полюбила,
я раз навсегда полюбила...
Но навечно, навечно
таежная глушь между нами,
бесконечные версты
с полями,
лесами,
снегами.
Никогда не приеду,
заволглую дверь не открою,
твои старые плечи

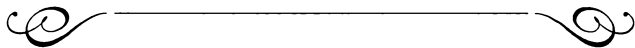
пуховым платком не укрою,
не скажу тебе доброго слова,
не приласкаюсь...
О, как я пожалею когда-нибудь,
как я покаюсь!





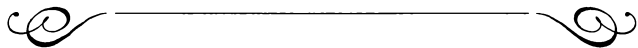
ЗВЕЗДА

Река текла
тяжелая, как масло,
в ней зарево закатное
не гасло,
и я за блеском неба и воды
не разглядела маленькой звезды.
Померкла гладь
серебряная с чернью,
затихла птичья сонная возня,
зажгли костер...
И звездочки вечерней
не разглядела я
из-за огня.
Истлели угли,
теплый и густой,
распространился сумрак по откосу.
Я за багровой искрой папиросы
звезды не разглядела
золотой.
Потом окурок горький затоптали,
погас последний уголь,
и тогда
я увидала, что из дальней дали
мне в сердце смотрит
вечная звезда.



* * *

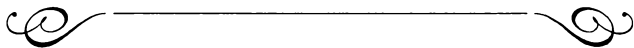
Как мне по́ сердцу вьюги такие,
посвист в поле, гуденье в трубе...
Напоследок гуляет стихия.
(Вот и вспомнила я о тебе.)
Вот и вспомнила утро прощанья,
по углам предрассветную мглу.
Я горячего крепкого чая
ни глотка проглотить не могу.
Не могу, не хочу примириться
с тем, как слаб иногда человек.
Не воротится... не повторится...
Не навек — говоришь?
Нет, навек!
Посиди, перестань суетиться,
не навек — говоришь?
Нет, навек!
... Что на белом-то свете творится,
как беснуется мартовский снег...
Вот и вспомнила: утро седое,
и рассвет все синей и синей,
и как будто бы выстлан слядою
убегающий след от саней.



* * *

Как часто лежу я без сна в темноте,
и всё представляются мне
та светлая речка
и елочки те
в далекой лесной стороне.
Как тихо, наверное, стало в лесу,
раздетые сучья черны,
день у́был — темнеет в четвертом часу, —
и окна не освещены.
Ни скрипа, ни шороха в доме пустом,
он весь потемнел и намок,
ступени завалены палым листом,
висит заржавелый замок...
А гуси летят в темноте ледяной,
тревожно и хрипло трубя...
Какое несчастье
случилось со мной —
я жизнь прожила
без тебя.





* * *

Много счастья и много печалей на свете,
а рассветы прекрасны,
а ночи глухí...

Незаконной любви
незаконные дети,
во грехе родились они —
эти стихи.

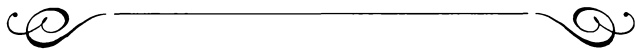
Так уж вышло, а я ни о чем не жалею,
трачу, трачу без удержу душу свою...
Мне они всех рожденных когда-то милее,
оттого что я в каждом тебя узнаю.

Я предвижу заране их трудную участь,
дождь и холод у запертых глухо дверей,
я заране их долгой бездомностью мучусь,
я люблю их — кровиночки жизни моей.
Все равно не жалею.

Мне некогда каяться.

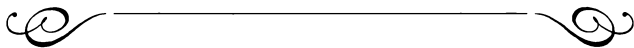
Догорай, мое сердце, боли́, холоде́й, —
пусть их больше от нашего счастья останется, —
перебьются!

Земля не без добрых людей!



* * *

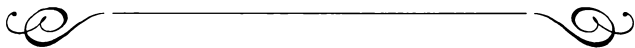
Сутки с тобою,
месяцы — врозь...
Спервоначалу
так повелось.
Уходишь, приходишь,
и снова,
и снова прощаешься,
то в слезы, то в сны
превращаешься,
и снова я жду,
как во веки веков
из плаванья женщины ждут
моряков.
Жду утром, и в полдень,
и ночью сырой,
и вдруг ты однажды
стучишься: — Открой! —
Тепла, тяжела
дорогая рука...
...А годы летят,
как летят облака,
летят-пролетают,
как листья, как снег...
Мы вместе — навек.
В разлуке — навек.



* * *

Как часто от себя мы правду прячем,
мол, так и так, — не знаю, что творю...
И ты вот притворяешься незрячим,
чтобы в ответе быть поводырю.
Что ж, ладно, друг,
спасибо за доверье,
в пути не брошу,
в топь не заведу...
Но все тесней смыкаются деревья,
и вот уж скоро ночь, как на беду.
Я и сама лукавлю — не отважусь
признаться, что измаялась в пути.
А если б на двоих нам
эту тяжесть, —
насколько легче было бы идти.





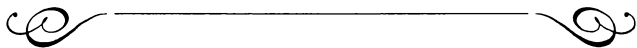
* * *

А может быть, останусь жить?
Как знать, как знать?
И буду с радостью дружить?
Как знать, как знать?
А может быть, мой черный час
не так уж плох?
Еще в запасе счастья часть,
шепотка крох...
Еще осталось: ночь, мороз,
снегов моря
и безнадежное до слез —
«Любимая!».
И этот свет, на краткий миг,
в твоём лице,
как будто не лицо, а лик
в святом венце.
И в три окна, в сугробах, дом —
леса кругом,
когда февраль, как белый зверь,
скребется в дверь...
Еще в той лампе фитилек
тобой зажжен,
как желтый жалкий мотылек,
трепещет он...
Как ночь души моей грозна,
что делать с ней?

О, честные твои глаза
куда честней!
О, добрые твои глаза
и, словно плоть,
слова, когда потом нельзя
ни спать, ни петь.

.....
Чуть-чуть бы счастья наскрести,
чтобы суметь
себя спасти, тебя спасти,
не умереть!

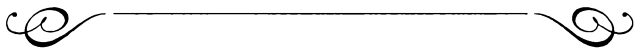




* * *

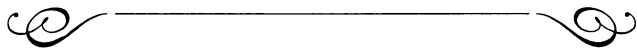
Пусть друзья простят меня за то, что
повидаться с ними не спешу.
Пусть друзья не попрекают почту —
это я им писем не пишу.
Пусть не сетуют, что рвутся нити, —
я их не по доброй воле рву.
Милые, хорошие, поймите:
я в другой галактике живу!





* * *

Спор был бесплодным,
безысходным...
Потом я вышла на крыльцо
умыть безмолвием холодным
разгоряченное лицо.
Глаза опухшие горели,
отяжелела голова,
и жгли мне сердце, а не грели
твои запретные слова.
Все было тихо и студено,
мерцала инея слюда,
на мир глядела удивленно
большая синяя звезда.
Березы стыли в свете млечном,
как дым клубясь над головой,
и на руке моей
колечко
светилось смутной синевой.
Ни шороха не раздавалось,
глухая тишь была в дому...
А я сквозь слезы улыбалась,
сама не зная почему.
Светало небо, голубело,
дышало, на землю сойдя...
А сердце плакало и пело...
И пело...
Бог ему судья!

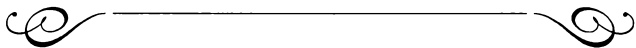


* * *

Я поняла —
ты не хотел мне зла,
ты даже был
предельно честен где-то,
ты просто оказался из числа
людей, не выходящих из бюджета.
Не обижайся,
я ведь не в укор,
ты и такой
мне бесконечно дорог.
Хорош ты, нет ли —
это сущий вздор.
Любить так уж любить —
без оговорок.
Я стала невеселая...
Прости!
Пускай тебя раскаянье не гложет.
Сама себя попробую спасти,
никто другой
спасти меня не может.
Забудь меня.
Из памяти сотри.
Была — и нет, и крест поставь
на этом!
А раны заживают изнутри.
А я еще уеду к морю летом.

Я буду слушать, как идет волна,
как в грохот шум ее перерастает,
как, отступая, шелестит она,
как будто книгу вечности
листает.
Не помни лихом.
Не сочти виной,
что я когда-то в жизнь твою вторгалась,
и не печалься —
все мое — со мной.
И не сочувствуй —
я не торговалась!

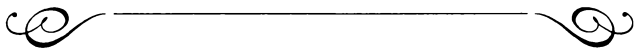




* * *

Там далёко,
за холмами синими,
за угрюмой северной рекой,
ты зачем зовешь меня по имени?
Ты откуда взялся?
Кто такой?
Голос твой блуждает темной чащей,
очень тихий,
слышный мне одной,
трогая покорностью щемящей,
ужасая близостью родной.
И душа,
как будто конь стреноженный,
замерла, споткнувшись на бегу,
вслушиваясь жадно и встревоженно
в тишину на дальнем берегу.

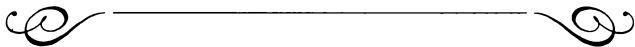




ГОЛУБКА

Она хрупка была и горяча
и вырывалась, крыльями плеща.
А у меня стучало сердце глухо,
и я ему внимала не дыша,
и мне казалось — это не голубка
на волю рвется, а моя душа.
Разжав ладонь, я выпустила птицу
в осеннем парке, полном тишины,
и отперла душе своей темницу:
— Лети на все четыре стороны!
Еще не веря в то, что совершилось,
растерянная, робкая еще,
она взлетела к небу,
покружилась
и опустилась на твое плечо.





ВЕРТУШИНКА

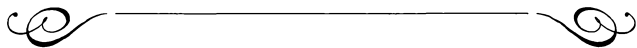
Хороша, говоришь, красива?
Что ж клянeshь ты ее с тоской?
Не кори, а скажи спасибо
быстрине ее колдовской.

И в погоду, и в непогоду
над речонкою склонена,
пьет осинка живую воду,
через то и жива она.

Вертушинке ли не струиться?
Нет иных у нее примет...
Если речка угомонится,
значит, речки на свете нет.

То мелеет, то прибывает —
любо-дорого поглядеть...
Реки старыми не бывают,
им не надобно молодеть.

Не страшись ее круговерти,
не беги от воды хмельной, —
успокоится после смерти,
нету вечных рек под луной!



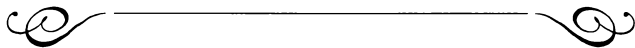
* * *

Я без тебя училась жить,
я принялась за дело.
Костер сумела я сложить, —
гудело, а не тлело.

Я без тебя училась жить...
Как сердце ни болело, —
сумела песню я сложить,
не плакала, а пела.

На озаренные кусты
глядела ясным взглядом...
Но вышел ты из темноты
и сел со мною рядом.





* * *

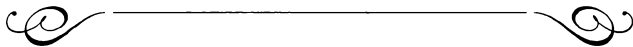
Зачем судьбу который раз пытаешь?
Любовь, как ветку, гнешь да гнешь в дугу?
Ты без нее счастливее не станешь,
а я прожить на свете не смогу.
Да, все идет неладно,
криво, косо,
да, время нам
к закату, под уклон...
А ветке что?
Она цветет без спроса,
и никакой закон ей
не закон!
За то ты так ее и ненавидишь,
ты хочешь, чтобы все —
как надо быть,
ты в ней противоречье смыслу видишь
и все-таки жалеешь загубить.
Брось, не жалей,
сгибай и перекручивай,
мол, все равно когда-нибудь зима...
Ты только оправданий не вымучивай,
я для тебя их подыщу сама.
Сломай — и все!

И крест поставь на этом,
а лучше кол осиновый забей.
Уж вот когда она
зеленым ветром
пойдет хозяйничать
в душе твоей!





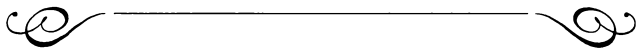
Последний снимок. Февраль, 1965 г.



* * *

*Человек живет совсем немного —
несколько десятков лет и зим,
каждый шаг отмеривая строго
сердцем человеческим своим.
Льются реки, плещут волны света,
облака похожи на ягнят...
Травы, шелестящие от ветра,
полчищами поймы полонят.
Выбегает из побегов хилых
сильная блестящая листва,
плачут и смеются на могилах
новые живые существа.
Вспыхивают и сгорают маки.
Истлевает дочерна трава...
В мертвых книгах
крохотные знаки
собраны в бессмертные слова.*

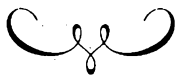




Хроинка жизни и творчества Вероники Михайловны Тушновой

- | | |
|-------------|---|
| 1911 | 27 марта родилась в Казани в семье Михаила Павловича Тушнова, профессора, впоследствии академика ВАСХНИЛ |
| 1919 | Поступила в школу №14, одну из лучших тогда школ Казани с углубленным изучением нескольких иностранных языков |
| 1928 | Поступила на медицинский факультет Казанского университета |
| 1931 | Переехала с родителями в Ленинград, где закончила 1-й Ленинградский медицинский институт |
| 1934 | Проходит аспирантуру в Москве при кафедре гистологии ВИЭМа и готовит диссертацию |
| 1935 | Смерть отца Михаила Павловича |
| 1938 | Вышла замуж за Юрия Борисовича Розинского, врача-психиатра |
| 1939 | Первое появление стихов в печати; рождение дочери Наташи |
| 1941 | Принята в Литературный институт, учиться в котором ей не |

- пришлось из-за начавшейся войны
- 1941—1945** Работает врачом в эвакогоспиталях Казани и Москвы
- 1945** Смерть матери Александры Георгиевны
- 1945** Выходит сборник стихов «Первая книга»
- 1947** Участие в Первом Всесоюзном совещании молодых писателей
- 1954—1965** Работа над переводами стихов Г. Тукая, М. Джалиля, Мирмухсина, Е. Букова, В. Порумбаку, Д. Максимович, Е. Багряны, С. Нерис, С. Капутикян, М. Маркарян, В. Белшевицы, В. Броневского, Р. Тагора и многих других
- 1954** Выходит сборник «Пути-дороги»
- 1958** Выходит сборник «Память сердца»
- 1961** Выходит сборник «Второе дыхание»
- 1963** Выходит сборник «Лирика»
- 1965** Июнь, выходит сборник «Сто часов счастья»
- 7 июля В. Тушнова скончалась после тяжелой болезни. Похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве



СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Турков. Ее звезда</i>	6
---------------------------------------	---

...ПАМЯТЬ СЕРДЦА, ПАМЯТЬ СЕРДЦА, ТЫ — ПОЭЗИЯ САМА...

Капитаны	20
Стихи о гудке	24
Голуби	29
Мещанские цветы	32
Чудеса	34
Котенок	36
Чиж	39
«В альбомчике школьном снимки...»	40
Весло	42
«У каждого есть в жизни хоть одно...»	43
«Нынче детство мне явилось...»	44
Старый дом	45
Прощанье	46
Из окна вагона	48
Сон	50
«Я помню, где-то...»	52

Поэма памяти	54
«Я тебя вспоминаю солидной и важной...»	62
«Сколько милых ровесников...»	64
«Пусть мне оправдываться нечем...»	66
Бессонница.	67
Станция Баладжары	68
Арык.	70
Осень в Латвии	72
«День осенний... день ненастный...»	74
Литве	76
«Резкие гудки автомобиля...»	78
«Память сердца! Память сердца!...»	80

...ЕЩЕ НЕ УМЕР ОТЗВУК ДИКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ МУЗЫКИ ВОЙНЫ...

Ночная тревога	88
Стихи о дочери	91
«Насыпает камешки в ведерки...»	98
«Уходит день. В углах синее тени...»	99
Беженец.	100
Кукла	102
В Кудинове	104
Костер.	106
Ночь	108
«Ты ложишься непривычно рано...»	110
Хирург	112
Мать	115
Письмо	118
Осень	120

Яблоки	122
Дорога.	125
Разговор с Москвой	126
Салют	129
«В оцепененье стоя у порога...»	130
Птица	132
«Спокойный вечер пасмурен и мглист...».	133
В лесу	134
Городок	135
Домой	136
«Вот и город. Первая застава...»	138
Дорога на Клухор	140

...А ЗНАЕШЬ, ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ...

«Людские души — души разные...»	158
«Мы шли пустынной улицей вдвоем...».	159
У источника	160
Зеркало	161
Непогода	162
Воспоминание.	164
«Молодость... Старость...»	166
«Не отрекаются любя...»	168
Весна	170
«Вот это и есть настоящее, да?...»	172
«И чего мы тревожимся, плачем и спорим...»	173
«У мокрых камней выгибает волна...».	174
«Твои глаза... Опять... Опять...»	175
«На рассветной поре...»	176
«Очертаниями туманными...»	177

«Я поднимаюсь по колючим склонам...»	178
В лесу	180
«Вчерашний дождь...»	182
О счастье	184
Ночь в горах.	186
«Воздух пьяный — нет спасения...»	188
В аэропорту	190
«Так было, так будет...»	192
«Всегда так было...»	194
«Счастливо и необъяснимо...»	195
Самолеты.	196
«Как счастье внезапное — оттепель эта...»	198
«Морозный лес...»	200
«За водой мерцает серебристо...»	203
Шишка	204
«Шагаю хвойною опушкой...»	205
«Я прощаюсь с тобою...»	206
«Мне говорят...»	208
«Пускай лучше ты не вступишь меня...»	210
«Знаю я бессильное мученье...»	211
«Бывало все: и счастье, и печали...»	212
«А знаешь, все еще будет!..»	213
<i>М. Соболев. Вареничка....</i>	215

НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...

Я желаю тебе добра!	222
«Хмурю землю...»	224
«Нам двоим посвященная...»	226
«Я пенять на судьбу не вправе...»	228

«Все в доме пасмурно и ветхо...»	230
«Сияет небо снежными горами...»	231
«Что-то мне недужится...»	232
«Не сули мне...»	234
«Сто часов счастья...»	236
«Не знаю — права ли...»	239
«Одна сию на пригорке...»	240
Черемуха	241
«Почему говорится...»	242
«Дождик сеет, сеет, сеет...»	243
«Небо желтой зарей окрашено...»	244
«Без обещаний...»	245
Синяя птица	246
«Осчастливь меня однажды...»	247
Вальдшнеп	248
«Бывают весны разными...»	249
«Быть хорошим другом обещался...»	251
Дом мой — в сердце твоём	252
«Всех его сил проверка...»	258
Утро	260
Письмо	261
Костер	262
«Не о чем мне печалиться...»	263
«Глаза твои хмурятся...»	264
«Гонит ветер...»	265
«Не охладела, нет...»	267
«Ну что же, можешь покинуть...»	268
«Так уж сердце у меня устроено...»	269
«Все было до меня: десятилетия...»	270

«Я одна тебя любить умею...»	272
«Мне на долю отпущены...»	273
«Опять утрами — лучезарный иней...»	274
«Помнишь, как залетела в окно синица...»	275
«Где-то чавкает вязкая глина...»	276
«Сколько же раз можно терять...»	278
«Еду я дорогой длинной...»	280
Наследство	282
Звуки дома	284
«Вот говорят: Россия...»	285
Полнолуние	286
Поют петухи...	287
«О, эти февральские вьюги...»	288
Лиственница	289
Мельница	290
«Ночью на станции — ветер, ветер...»	292
«Ты все еще тревожишься — что будет?...»	293
«Не боюсь, что ты меня оставишь...»	294
«Ты не горюй обо мне, не тужи...»	295
«Вот уеду, исчезну...»	296
«У всех бывают слабости минуты...»	297
Раскаяние	298
«Ну, пожалуйста, пожалуйста...»	300
В самолете	303
Сновидение	304
Звезда	306
«Как мне по́ сердцу вьюги такие...»	307
«Как часто лежу я без сна в темноте...»	308
«Много счастья и много печалей на свете...»	309

«Сутки с тобою...»	310
«Как часто от себя мы правду прячем...»	311
«А может быть, останусь жить?..»	312
«Пусть друзья простят меня за то, что...»	314
«Спор был бесплодным...»	315
«Я поняла...»	316
«Там далёко...»	318
Голубка	319
Вертушинка	320
«Я без тебя училась жить...»	321
«Зачем судьбу который раз пытаешь?..»	322
«Человек живет совсем немного...»	325
Хроника жизни и творчества Вероники Михайловны Тушновой	326

Литературно-художественное издание

Вероника Тушнова
НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ

Редактор *И. Топоркова*
Художественный редактор *А. Новиков*
Технические редакторы *В. Бардышева, Е. Попова*
Корректор *Г. Аушева*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.

Подписано в печать с готовых монтажей 14.09.00.

Формат 70x100 ¹/₃₂. Гарнитура «Пetersбург».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,65. Уч.-изд. л. 5,81.

Тираж 5000 экз. Заказ 5763.

Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.

ЗАО «Издательство «ЭКSMO-Пресс»,
125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80,
корп. 16, подъезд 3.

ISBN 5-04-003241-2



9 785040 032419 >

АООТ «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.



ПОЭЗИЯ

Жизнь без поэзии бледна и уныла, как без пения птиц, благоухания цветов, без любви и красоты. Язык поэзии – язык возвышенного движения души, великой радости и светлой печали. Не все говорят на нем, но понять его может каждый. Для тех, кто хочет обогатить свою жизнь бесценными сокровищами поэтического слова, издательство «ЭКСМО» готовит серию книг, в которую войдут лучшие творения отечественных и зарубежных поэтов. Домашняя библиотека поэзии – это хлеб насущный для трепетных сердец и пытливых умов. Прислушайтесь к голосам Орфеев нашего века, и вы согласитесь, что жизнь без поэзии – просто не жизнь.



НОВИНКИ СЕРИИ:

- М. Цветаева** «Просто – сердце»,
А. Пушкин «Я вас любил...»,
В. Высоцкий «Кони привередливые»,
А. Ахматова «Ветер лебединый»,
Хафиз «Вино вечности»,
М. Петровых «Домолчаться до стихов»,
«Гори, гори, моя звезда» (старинный русский романс),
У. Шекспир «Лирика»,
Л. Филатов, В. Гафт «Жизнь – Театр»,
Г. Шпаликов «Пароход белый-беленький»,
А. Пушкин «И божество, и вдохновенье...»
(подарочное издание),
А. Пушкин «Евгений Онегин».

В планах издательства:

Сборники стихотворений Б.Ахмадулиной, Э.По, Р.Киплинга,
Камозенса, К.Бальмонта, Ф.Сологуба, И.Северянина,
М.Петровых и др.

Все книги объемом 400-550 стр., золотое тиснение,
офсетная бумага, шитый блок.



Вероника Тушнова

Не отрекаются
любя